



Albert Camus

АЛЬБЕР КАМЮ

ЧУМА
ЗАПИСКИ БУНТАРЯ



Альбер Камю

Чума. Записки бунтаря (сборник)

«АСТ»

1947, 1964

УДК 821.133.1-3
ББК 84(4ФРА)-44

Камю А.

Чума. Записки бунтаря (сборник) / А. Камю — «АСТ»,
1947, 1964

ISBN 978-5-17-100533-7

«Чума» (1947) – это роман-притча. В город приходит страшная болезнь – и люди начинают умирать. Отцы города, скрывая правду, делают жителей заложниками эпидемии. И каждый стоит перед выбором: бороться за жизнь, искать выход или смириться с господством чумы, с неизбежной смертью. Многие литературные критики «прочитывают» в романе события во Франции в период фашистской оккупации. «Записки бунтаря» – уникальные заметки Альбера Камю периода 1942–1951 годов, посвященные вопросу кризиса буржуазной культуры. Спонтанность изложения, столь характерная для ранних дневников писателя, уступает место отточенности и силе мысли – уже зрелой, но еще молодо страстной. У читателя есть уникальная возможность шаг за шагом повторить путь Альбера Камю – путь поиска нового, индивидуального, бунтарского смысла бытия.

УДК 821.133.1-3
ББК 84(4ФРА)-44

ISBN 978-5-17-100533-7

© Камю А., 1947, 1964
© АСТ, 1947, 1964

Содержание

Чума	6
Часть первая	7
Часть вторая	35
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Альбер Камю

Чума. Записки бунтаря (сборник)

Albert Camus

LA PESTE

CARNETS II (Janvier 1942 – Mars 1951)

© Editions Gallimard, Paris, 1947, 1964

Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.

© Перевод. Н.М. Жаркова, наследники, 2014

© Перевод. О.Э. Гринберг, наследники, 2011

© Перевод. В.А. Мильчина, 2011

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

Чума

Если позволительно изобразить тюремное заключение через другое тюремное заключение, то позволительно также изобразить любой действительно существующий в реальности предмет через нечто вообще несуществующее.

Даниель Дефо

Перевод Н. Жарковой

Часть первая

Любопытные события, послужившие сюжетом этой хроники, произошли в Оране в 194... году. По общему мнению, они, эти события, были просто неуместны в данном городе, ибо некоторым образом выходили за рамки обычного. И в самом деле, на первый взгляд Оран – обычный город, типичная французская префектура на алжирском берегу.

Надо признать, что город как таковой достаточно уродлив. И не сразу, а лишь по прошествии известного времени замечаешь под этой мирной оболочкой то, что отличает Оран от сотни других торговых городов, расположенных под всеми широтами. Ну как, скажите, дать вам представление о городе без голубей, без деревьев и без садов, где не услышишь ни хлопанья крыльев, ни шелеста листвы, – словом, без особых примет. О смене времени года говорит только небо. Весна извещает о своем приходе лишь новым качеством воздуха и количеством цветов, которые в корзинах привозят из пригородов розничные торговцы, – короче, весна, продающаяся вразнос. Летом солнце сжигает и без того прокаленные дома и покрывает стены сероватым пеплом; тогда жить можно лишь в тени наглухо закрытых ставен. Зато осень – это потопа грязи. Погожие дни наступают только зимой.

Самый удобный способ познакомиться с городом – это попытаться узнать, как здесь работают, как здесь любят и как здесь умирают. В нашем городке – возможно, таково действие климата – все это слишком тесно переплетено и делается все с тем же лихорадочно-отсутствующим видом. Это значит, что здесь скучают и стараются обзавестись привычками. Наши обыватели работают много, но лишь ради того, чтобы разбогатеть. Все их интересы вращаются главным образом вокруг коммерции, и прежде всего они заняты, по их собственному выражению, тем, что «делают дела». Понятно, они не отказывают себе также и в незатейливых радостях – любят женщин, кино и морские купания. Но, как люди рассудительные, все эти удовольствия они приберегают на субботний вечер и на воскресенье, а остальные шесть дней недели стараются заработать побольше денег. Вечером, покинув свои конторы, они в точно установленный час собираются в кафе, прогуливаются все по тому же бульвару или восседают на своих балконах. В молодости их желания неистовы и скоротечны, в более зрелом возрасте пороки не выходят за рамки общества игроков в шары, банкетов в складчину и клубов, где ведется крупная азартная игра.

Мне, разумеется, возразят, что все это присуще не только одному нашему городу и что таковы в конце концов все наши современники. Разумеется, в наши дни уже никого не удивляет, что люди работают с утра до ночи, а затем сообразно личным своим вкусам убивают остающееся им для жизни время на карты, сидение в кафе и на болтовню. Но есть ведь такие города и страны, где люди хотя бы временами подозревают о существовании чего-то иного. Вообще-то говоря, от этого их жизнь не меняется. Но подозрение все-таки мелькнуло, и то слава Богу. А вот Оран, напротив, город, по-видимому, никогда и ничего не подозревающий, то есть вполне современный город. Поэтому нет надобности уточнять, как у нас любят. Мужчины и женщины или слишком быстро взаимно пожирают друг друга в том, что зовется актом любви, или же у них постепенно образуется привычка быть вместе. Между двумя этими крайностями чаще всего середины нет. И это тоже не слишком оригинально. В Оране, как и повсюду, за неимением времени и способности мыслить люди хоть и любят, но сами не знают об этом.

Зато более оригинально другое – смерть здесь связана с известными трудностями. Впрочем, трудность – это не то слово, правильное было бы сказать некомфортабельность. Болеть всегда неприятно, но существуют города и страны, которые поддерживают вас во время недуга и где в известном смысле можно позволить себе роскошь поболеть. Больной нуждается в ласке, ему хочется на что-то опереться, это вполне естественно. Но в Оране все

требует крепкого здоровья: и капризы климата, и размах деловой жизни, серость окружающего, короткие сумерки и стиль развлечений. Больной там по-настоящему одинок... Каково же тому, кто лежит на смертном одре, в глухом капкане, за сотнями потрескивающих от зноя стен, меж тем как в эту минуту целый город по телефону или за столиками кафе говорит о коммерческих сделках, коносаментах и учете векселей. И вы поймете тогда, до чего же некомфортабельна может стать смерть, даже вполне современная, когда она приходит туда, где всегда сушь.

Будем надеяться, что эти беглые указания дадут достаточно четкое представление о нашем городе. Впрочем, не следует ничего преувеличивать. Надо бы вот что особенно подчеркнуть – банальнейший облик города и банальный ход тамошней жизни. Но стоит только обзавестись привычками, и дни потекут гладко. Раз наш город благоприятствует именно приобретению привычек, следовательно, мы вправе сказать, что все к лучшему. Конечно, под этим углом жизнь здесь не слишком захватывающая. Зато мы не знаем, что такое беспорядок. И наши прямодушные, симпатичные и деятельные сограждане неизменно вызывают у путешественника вполне законное уважение. Этот отнюдь не живописный город, лишенный зелени и души, начинает казаться градом отдохновения и под конец усыпляет. Но справедливости ради добавим, что привили его к ни с чем не сравнимому пейзажу, он лежит посреди голого плато, окруженного лучезарными холмами, у самой бухты совершенных очертаний. Можно только пожалеть, что строился он спиной к бухте, поэтому моря ниоткуда не видно, вечно его приходится отыскивать.

После всего вышесказанного читатель без труда согласится, что происшествия, имевшие место весной нынешнего года, застали наших сограждан врасплох и были, как мы поняли впоследствии, провозвестниками целой череды событий чрезвычайных, рассказ о коих излагается в этой хронике. Некоторым эти факты покажутся вполне правдоподобными, зато другие могут счесть их фантазией автора. Но в конце концов летописец не обязан считаться с подобными противоречиями. Его задача – просто сказать «так было», если он знает, что так оно и было в действительности, если случившееся непосредственно коснулось жизни целого народа и имеются, следовательно, тысячи свидетелей, которые оценят в душе правдивость его рассказа.

К тому же рассказчик, имя которого мы узнаем в свое время, не позволил бы себе выступать в этом качестве, если бы волею случая ему не довелось собрать достаточное количество свидетельских показаний и если бы силою событий он сам не оказался замешанным во все, что намерен изложить. Это и позволило ему выступить в роли историка. Само собой разумеется, историк, даже если он дилетант, всегда располагает документами. У рассказывающего эту историю, понятно, тоже есть документы: в первую очередь его личное свидетельство, потом свидетельства других, поскольку в силу своего положения ему пришлось выслушивать доверительные признания всех персонажей этой хроники, наконец, бумаги, попавшие в его руки. Он намерен прибегать к ним, когда сочтет это необходимым, и использовать их так, как ему это удобно. Он намерен также... Но видимо, пора уже бросить рассуждения и недомолвки и перейти к самому рассказу. Описание первых дней требует особой тщательности.

* * *

Утром шестнадцатого апреля доктор Бернар Риэ, выйдя из квартиры, споткнулся на лестничной площадке о дохлую крысу. Как-то не придав этому значения, он отшвырнул ее носком ботинка и спустился по лестнице. Но уже на улице он задал себе вопрос, откуда бы взяться крысе у него под дверью, и он вернулся сообщить об этом происшествии привратнику. Реакция старого привратника мсье Мишеля лишь подчеркнула, сколь необычным был

этот случай. Если доктору присутствие в их доме дохлой крысы показалось только странным, то в глазах привратника это был настоящий позор. Впрочем, мсье Мишель занял твердую позицию: в их доме крыс нет. И как ни уверял его доктор, что сам видел крысу на площадке второго этажа, и, по всей видимости, дохлую крысу, мсье Мишель стоял на своем. Раз в доме крыс нет, значит, кто-нибудь подбросил ее нарочно. Короче, кто-то просто подшутил.

Вечером того же дня Бернар Риэ, прежде чем войти к себе, остановился на площадке и стал шарить по карманам ключи, как вдруг он заметил, что в дальнем, темном углу коридора показалась огромная крыса с мокрой шерсткой, двигавшаяся как-то боком. Грызун остановился, словно стараясь удержаться в равновесии, потом двинулся к доктору, снова остановился, перевернулся вокруг собственной оси и, слабо пискнув, упал на пол, причем из его мордочки брызнула кровь. С минуту доктор молча смотрел на крысу, потом вошел к себе.

Думал он не о крысе. При виде брызнувшей крови он снова вернулся мыслью к своим заботам. Жена его болела уже целый год и завтра должна была уехать в санаторий, расположенный в горах. Как он и просил уходя, она лежала в их спальне. Так она готовилась к завтрашнему утомительному путешествию. Она улыбнулась.

– А я чувствую себя прекрасно, – сказала она.

Доктор посмотрел на повернутое к нему лицо, на которое падал свет ночника. Лицо тридцатилетней женщины казалось Риэ таким же, каким было в дни первой молодости, возможно, из-за этой улыбки, возмещавшей все, даже пометы тяжелого недуга.

– Постарайся, если можешь, заснуть, – сказал он. – В одиннадцать придет сиделка, и я отвезу вас обеих на вокзал к двенадцатичасовому поезду.

Он коснулся губами чуть влажного лба. Жена проводила его до дверей все с той же улыбкой.

Наутро, семнадцатого апреля, в восемь часов привратник остановил проходящего мимо доктора и пожаловался ему, что какие-то злые шутники подбросили в коридор трех дохлых крыс. Должно быть, их захлопнула особенно мощная крысоловка, потому что они все были в крови. Привратник еще с минуту постоял в дверях, держа крыс за лапки, он, видимо, ожидал, что злоумышленники выдадут себя какими-нибудь ядовитыми шутками. Но ровно ничего не произошло.

– Ладно, погодите, – пообещал мсье Мишель, – я их непременно поймаю.

Заинтригованный этим происшествием, Риэ решил начать визиты с внешних кварталов, где жили самые бедные его пациенты. Мусор оттуда вывозили обычно много позже, чем из центра города, и автомобиль, кативший по прямым и пыльным улицам, чуть не задевал своими боками стоявшие на краю тротуара ящики с отбросами. Только на одной из улиц, по которой ехал доктор, он насчитал с десятков дохлых крыс, валявшихся на гудах очистков и грязного тряпья.

Первого больного, к которому он заглянул, он застал в постели в комнате, выходившей окнами в переулок, которая служила и спальней, и столовой. Больной был старик испанец с грубым изможденным лицом. Перед ним на одеяле стояли две кастрюльки с горошком. Когда доктор входил, больной, полусидевший в постели, откинулся на подушки, стараясь справиться с хриплым дыханием, выдававшим застарелую астму. Жена принесла тазик.

– А вы видели, доктор, как они лезут, а? – спросил старик, пока Риэ делал ему укол.

– Верно, – подтвердила жена, – наш сосед трех подобрал.

Старик потер руки.

– Лезут, во всех помойках их полно! Это к голоду!

Риэ понял, что о крысах говорит уже весь квартал. Покончив с визитами, доктор возвратился домой.

– Вам телеграмма пришла, – сказал мсье Мишель.

Доктор осведомился, не видал ли он еще крыс.

– Э-э, нет, – ответил привратник. – Я теперь в оба гляжу, сами понимаете. Ни один мерзавец не сунется.

Телеграмма сообщала, что завтра прибывает мать Риэ. В отсутствие больной жены дом будет вести она. Доктор вошел к себе в квартиру, где уже ждала сиделка. Жена была на ногах, она надела строгий английский костюм, чуть подкрасилась. Он улыбнулся ей.

– Вот и хорошо, – сказал он, – очень хорошо.

На вокзале он посадил ее в спальный вагон. Она оглядела купе.

– Пожалуй, слишком для нас дорого, а?

– Так надо, – ответил Риэ.

– А что это за история с крысами?

– Сам еще не знаю. Вообще-то странно, но все обойдется.

И тут он, комкая слова, попросил у нее прощения за то, что недостаточно заботился о ней, часто бывал невнимателен. Она покачала головой, словно умоляя его замолчать, но он все-таки добавил:

– Когда ты вернешься, все будет по-другому. Начнем все сначала.

– Да, – сказала она, и глаза ее заблестели. – Начнем.

Она повернулась к нему спиной и стала смотреть в окно. На перроне суетились и толкались пассажиры. Даже в купе доходило приглушенное пыхтение паровоза. Он окликнул жену, и, когда она обернулась, доктор увидел мокрое от слез лицо.

– Не надо, – нежно проговорил он.

В глазах ее еще стояли слезы, но она снова улыбнулась, вернее, чуть скривила губы. Потом прерывисто вздохнула.

– Ну иди, все будет хорошо.

Он обнял ее и теперь, стоя на перроне по ту сторону вагонного окна, видел только ее улыбку.

– Прошу тебя, – сказал он, – береги себя.

Но она уже не могла расслышать его слов.

При выходе на вокзальную площадь Риэ заметил господина Отон, следователя, который вел за ручку своего сынишку. Доктор осведомился, не уезжает ли он. Господин Отон, длинный и черный, похожий на человека светского, как некогда выражались, и одновременно на факельщика из похоронного бюро, ответил любезно, но немногословно:

– Я встречаю мадам Отон, она ездила навестить моих родных.

Засвистел паровоз.

– Крысы... – начал следователь.

Риэ шагнул было в сторону поезда, но потом снова повернул к выходу.

– Да, но это ничего, – проговорил он.

Все, что удержала его память от этой минуты, был железнодорожник, несший ящик сдохлыми крысами, прижимая его к боку.

В тот же день после обеда, еще до начала вечернего приема, Риэ принял молодого человека – ему уже сообщили, что это журналист и что он заходил утром. Звался он Раймон Рамбер. Невысокий, широкоплечий, с решительным лицом, светлыми умными глазами, Рамбер, носивший костюм спортивного покроя, производил впечатление человека, находящегося в ладах с жизнью. Он сразу же приступил к делу. Явился он от большой парижской газеты взять у доктора интервью по поводу условий жизни арабов и хотел бы также получить материалы о санитарном состоянии коренного населения. Риэ сказал, что состояние не из блестящих. Но он пожелал узнать, прежде чем продолжать беседу, может ли журналист написать правду.

– Ну ясно, – ответил журналист.

– Я имею в виду, будет ли ваше обвинение безоговорочным?

– Безоговорочным, скажу откровенно, – нет. Но хочу надеяться, что для такого обвинения нет достаточных оснований.

Очень мягко Риэ сказал, что, пожалуй, и впрямь для подобного обвинения оснований нет; задавая этот вопрос, он преследовал лишь одну цель – ему хотелось узнать, может ли Рамбер свидетельствовать, ничего не смягчая.

– Я признаю только свидетельства, которые ничего не смягчают. И поэтому не считаю нужным подкреплять ваше свидетельство данными, которыми располагаю.

– Язык, достойный Сен-Жюста, – улыбнулся журналист.

Не повышая тона, Риэ сказал, что в этом он ничего не смыслит, а говорит он просто языком человека, уставшего жить в нашем мире, но, однако, чувствующего влечение к себе подобным и решившего для себя лично не мириться со всяческой несправедливостью и компромиссами. Рамбер, втянув голову в плечи, поглядывал на него.

– Думаю, что я вас понял, – проговорил он не сразу и поднялся.

Доктор проводил его до дверей.

– Спасибо, что вы так смотрите на вещи.

Рамбер нетерпеливо повел плечом.

– Понимаю, – сказал он, – простите за беспокойство.

Доктор пожал ему руку и сказал, что можно было бы сделать любопытный репортаж о грызунах: повсюду в городе валяются десятки дохлых крыс.

– Ого! – воскликнул Рамбер. – Действительно интересно!

В семнадцать часов, когда доктор снова отправился с визитами, он встретил на лестнице довольно еще молодого человека, тяжеловесного, с большим, массивным, но худым лицом, на котором резко выделялись густые брови. Доктор изредка встречал его у испанских танцовщиков, живших в их подъезде на самом верхнем этаже. Жан Тарру сосредоточенно сосал сигарету, глядя на крысу, которая корчилась в агонии на ступеньке у самых его ног. Тарру поднял на доктора спокойный, пристальный взгляд серых глаз, поздоровался и добавил, что все-таки нашествие крыс – любопытная штука.

– Да, – согласился Риэ, – но в конце концов это начинает раздражать.

– Разве что только с одной точки зрения, доктор, только с одной. Просто мы никогда ничего подобного не видели, вот и все. Но я считаю этот факт интересным, да-да, весьма интересным.

Тарру провел ладонью по волосам, отбросил их назад, снова поглядел на переставшую корчиться крысу и улыбнулся Риэ.

– Вообще-то говоря, доктор, это уж забота привратника.

Доктор как раз обнаружил привратника у их подъезда, он стоял, прислонясь к стене, и его обычно багровое лицо выражало усталость.

– Да, знаю, – ответил старик Мишель, когда доктор сообщил ему о новой находке. – Теперь их сразу по две, по три находят. И в других домах то же самое.

Вид у него был озабоченный, пришибленный. Машинальным жестом он тер себе шею. Риэ осведомился о его самочувствии. Нельзя сказать, чтобы он окончательно расклеился. А все-таки как-то ему не по себе. Очевидно, это его заботы точат. Совсем сбили с панталыку эти крысы, а вот когда они уберутся прочь, ему сразу полегчает.

Но на следующее утро, восемнадцатого апреля, доктор, ездивший на вокзал встречать мать, заметил, что мсье Мишель еще больше осунулся: теперь уж с десяток крыс карабкались по лестницам, видимо, перебирались из подвала на чердак. В соседних домах все баки для мусора полны дохлых крыс. Мать доктора выслушала эту весть, не выказав ни малейшего удивления.

– Такие вещи случаются.

Была она маленькая, с серебристой сединой в волосах, с кроткими черными глазами.

– Я счастлива повидать тебя, Бернар, – твердила она. – И никакие крысы нам не мешают.

Сын кивнул: и впрямь с ней всегда все казалось легким.

Все же Риэ позвонил в городское бюро дератизации, он был лично знаком с директором. Слышал ли директор разговоры о том, что огромное количество крыс вышли из нор и подымаются? Мерсье, директор, слышал об этом, и даже в их конторе, расположенной неподалеку от набережной, обнаружено с полсотни грызунов. Ему хотелось знать, насколько положение серьезно. Риэ не мог решить этот вопрос, но он считал, что контора обязана принять меры.

– Конечно, – сказал Мерсье, – но только когда получим распоряжение. Если ты считаешь, что дело стоит труда, я могу попытаться получить соответствующее распоряжение.

– Все всегда стоит труда, – ответил Риэ.

Их служанка только что сообщила ему, что на крупном заводе, где работает ее муж, подобрали несколько сотен дохлых крыс.

Во всяком случае, примерно в это же время наши сограждане стали проявлять первые признаки беспокойства. Ибо с восемнадцатого числа и в самом деле на всех заводах и складах ежедневно обнаруживали сотни крысиных трупиков. В тех случаях, когда агония затягивалась, приходилось грызунов приканчивать. От окраин до центра города, словом, везде, где побывал доктор Риэ, везде, где собирались наши сограждане, крысы будто бы поджидали их, густо набившись в мусорные ящики или же вытянувшись длинной цепочкой в сточных канавах. С этого же дня за дело взялись вечерние газеты и в упор поставили перед муниципалитетом вопрос – намерен или нет он действовать и какие срочные меры собирается принять, дабы оградить своих подопечных от этого омерзительного нашествия? Муниципалитет ровно ничего не намеревался делать и ровно никаких мер не предпринимал, а ограничился тем, что собрался с целью обсудить положение. Службе дератизации был отдан приказ: каждое утро на рассвете подбирать дохлых крыс. А потом оба конторских грузовика должны были отвозить трупы животных на мусоросжигательную станцию для сожжения.

Но в последующие дни положение ухудшилось. Число дохлых грызунов все возрастало, и каждое утро работники конторы собирали еще более обильную, чем накануне, жатву. На четвертый день крысы стали группами выходить на свет и околевали кучно. Из всех сараев, подвалов, погребов, сточных канав вылезали они длинными расслабленными шеренгами, неверными шажками выбирались на свет, чтобы, покругившись вокруг собственной оси, подохнуть поближе к человеку. Ночью в переулках, на лестничных клетках был отчетливо слышен их короткий предсмертный писк. Утром в предместьях города их обнаруживали в сточных канавах с венчиком крови на остренькой мордочке – одни раздутые, уже разложившиеся, другие окоченевшие, с еще воинственно взъерошенными усами. Даже в центре города можно было наткнуться на трупы грызунов, валявшихся кучками на лестничных площадках или во дворах. А некоторые одиночные экземпляры забирались в вестибюли казенных зданий, на школьные дворики, иной раз даже на террасы кафе, где и подышали. Наши сограждане с удивлением находили их в самых людных местах города. Порой эта мерзость попадалась на Оружейной площади, на бульварах, на Приморском променаде. На заре город очищали от падали, но в течение дня крысиные трупы накапливались вновь и вновь во все возрастающем количестве. Бывало не раз, что ночной прохожий случайно с размаху наступал на пружинящий под ногой еще свежий трупик. Казалось, будто сама земля, на которой были построены наши дома, очищалась от скопившейся в ее недрах скверны, будто оттуда изливалась наружу сукровица и взбухали язвы, разъедавшие землю изнутри. Вообразите же, как опешил наш доселе мирный городок, как потрясли его эти несколько дней; так здоровый человек вдруг обнаруживает, что его до поры до времени неспешно текущая в жилах кровь внезапно взбунтовалась.

Дошло до того, что агентство Инфдок (информация, документация, справки по любым вопросам) в часы, отведенные для бесплатной информации, довело до сведения радиослушателей, что за одно только двадцать пятое апреля была подобрана и сожжена 6231 крыса. Цифра эта обобщила и прояснила смысл уже ставшего будничным зрелища и усугубила общее смятение. До этой передачи люди сетовали на нашествие грызунов как на малоаппетитное происшествие. Только теперь они осознали, что это явление несет с собой угрозу, хотя никто не мог еще ни установить размеры бедствия, ни объяснить причину, его породившую. Один только старик испанец, задохнувшийся от астмы, по-прежнему потирал руки и твердил в упоении: «Лезут! Лезут!»

Двадцать восьмого апреля агентство Инфдок объявило, что подобрано примерно 8000 крысиных трупов, и городом овладел панический страх. Жители требовали принятия радикальных мер, обвиняли власти во всех смертных грехах, и некоторые владельцы вилл на побережье заговорили уже о том, что пришло время перебираться за город. Но на следующий день агентство объявило, что нашествие внезапно кончилось и служба очистки подобрала только незначительное количество дохлых крыс. Город вздохнул с облегчением.

Однако в тот же день около полудня доктор Риэ, остановив перед домом машину, заметил в конце их улицы привратника, который еле передвигался, как-то нелепо растопырив руки и ноги и свесив голову, будто деревянный паяц. Старика привратника поддерживал под руку священник, и доктор сразу его узнал. Это был отец Панлю, весьма ученый и воинствующий иезуит; они не раз встречались, и Риэ знал, что в их городе преподобный отец пользуется большим уважением даже среди людей, равнодушных к вопросам религии. Доктор подождал их. У старика Мишеля неестественно блестели глаза, дыхание со свистом вырывалось из груди. Вдруг что-то занемог, объяснил Мишель, и решил выйти на воздух. Но во время прогулки у него начались такие резкие боли в области шеи, под мышками и в паху, что пришлось повернуть обратно и попросить отца Панлю довести его до дома.

– Там набрякло, – пояснил он. – Не мог до дому добраться.

Высунув руку из окна автомобиля, доктор провел пальцем по шее старика возле ключиц и нащупал твердый, как деревянный, узелок.

– Идите ложитесь, смеряйте температуру, я загляну к вам под вечер.

Привратник ушел, а Риэ спросил отца Панлю, что он думает насчет нашествия грызунов.

– Очевидно, начнется эпидемия, – ответил святой отец, и в глазах его, прикрытых круглыми стеклами очков, мелькнула улыбка.

После завтрака Риэ перечитывал телеграмму, где жена сообщала о своем прибытии в санаторий, как вдруг раздался телефонный звонок. Звонил его старый пациент, служащий мэрии. Он уже давно страдал сужением аорты, и так как человек он был малоимущий, Риэ лечил его бесплатно.

– Да, это я, вы меня, наверно, помните, – сказал он. – Но сейчас речь не обо мне. Приходите поскорее, с моим соседом неладно.

Голос его прерывался. Риэ подумал о привратнике и решил заглянуть к нему попозже. Через несколько минут он уже добрался до одного из внешних кварталов и открыл дверь низенького домика по улице Федерб. На середине сырой и вонючей лестницы он увидел Жозефа Грана, служащего мэрии, который вышел его встретить. Узкоплечий, длинный, сутулый, с тонкими ногами и руками, прокуренными желтыми усами, он казался старше своих пятидесяти лет.

– Сейчас чуть получше, – сказал он, шагнув навстречу Риэ, – а я уж испугался, что он кончается.

Он высморкался. На третьем, то есть на самом верхнем, этаже Риэ прочел на двери слева надпись, сделанную красным мелом: «Входите, я повесился».

Они вошли. Веревка свисала с люстры над опрокинутым стулом, стол был задвинут в угол. Но в петле никого не оказалось.

– Я его вовремя успел вынуть из петли, – сказал Гран, который, как и всегда, с трудом подбирал слова, хотя лексикон его был и без того небогат. – Я как раз выходил и вдруг услышал шум. А когда увидел надпись, решил, что это розыгрыш, что ли. Но он так странно, я бы сказал даже зловеще, застонал...

Он поскреб себе затылок.

– По моему мнению, это должно быть крайне мучительно. Ну, понятно, я вошел.

Толкнув дверь, они очутились в светлой, бедно обставленной спальне. На кровати с медными шишечками лежал низкорослый толстячок. Дышал он громко и смотрел на вошедших воспаленными глазами. Доктор остановился на пороге. Ему почудилось, будто в паузах между двумя вздохами он слышит слабый крысиный писк. Но в углах комнаты ничто не копошилось. Риэ подошел к кровати. Пациент, очевидно, упал с небольшой высоты, и упал мягко – позвонки были целы. Само собой разумеется, небольшое удушье. Не мешало бы сделать рентгеновский снимок. Доктор впрыснул больному камфару и сказал, что через несколько дней все будет в порядке.

– Спасибо, доктор, – глухо пробормотал больной.

Риэ спросил Грана, сообщил ли он о случившемся полицейскому комиссару, и тот смущенно взглянул на него.

– Нет, – сказал он, – нет. Я решил, что важнее...

– Вы правы, – подтвердил Риэ, – тогда я сам сообщу.

Но тут больной беспокойно шевельнулся, сел на кровати и заявил, что он чувствует себя прекрасно и не стоит поэтому никому ничего сообщать.

– Успокойтесь, – сказал Риэ. – Поверьте мне, все это пустяки, но я обязан сообщать о таких происшествиях.

– Ох, – простонал больной.

Он откинулся на подушку и тихонько заснул. Гран, молча пощипывавший усы, приблизился к постели.

– Ну-ну, мсье Коттар, – проговорил он. – Вы сами должны понимать. Ведь доктор, надо полагать, за такие вещи отвечает. А что, если вам в голову придет еще раз...

Но Коттар, всхлипывая, заявил, что не придет, то была просто минутная вспышка безумия и он лишь одного хочет – пускай его оставят в покое. Риэ написал рецепт.

– Ладно, – сказал он. – Не будем об этом. Я зайду дня через два-три. Только смотрите снова не наделяйте глупостей.

На лестничной площадке Риэ сказал Грану, что обязан заявить о происшедшем, но что он попросит комиссара начать расследование не раньше, чем дня через два.

– Ночью за ним стоило бы приглядеть. Семья у него есть?

– Во всяком случае, я никого не знаю, но могу сам за ним присмотреть. – Он покачал головой. – Признаться, я и его самого-то не так уж хорошо знаю. Но нужно ведь помогать друг другу.

Проходя по коридору, Риэ машинально посмотрел в угол и спросил Грана, полностью ли исчезли крысы из их квартала. Чиновник не мог сообщить по этому поводу ничего. Правда, ему рассказывали о крысином нашествии, но он обычно не придает значения болтовне соседей.

– У меня свои заботы, – сказал он.

Риэ поспешно пожал ему руку. Нужно было еще написать жене, а перед тем навестить привратника.

Газетчики, продающие вечерний выпуск, громкими криками возвещали, что нашествие грызунов пресечено. Но, едва переступив порог каморки привратника, доктор увидел,

что тот лежит, наполовину свесившись с кровати над помойным ведром, схватившись одной рукой за живот, другой за горло, и его рвет мучительно, с потугами, розовой желчью. Ослабев от этих усилий, еле дыша, привратник снова улегся. Температура у него поднялась до 39,5°, железы на шее и суставы еще сильнее опухли, на боку выступили два черных пятна. Теперь он жаловался, что у него ноет все нутро.

– Жжет, – твердил он, – ух как жжет, сволочь!

Губы неестественно темного цвета еле шевелились, он бормотал что-то неразборчивое и все поворачивал к врачу свои рачьи глаза, на которые от нестерпимой головной боли то и дело наворачивались слезы. Жена с тревогой смотрела на упорно молчавшего Риэ.

– Доктор, – спросила она, – что это с ним такое?

– Может быть любое. Пока ничего определенного сказать нельзя. До вечера подержите его на диете, дайте слабительное. И пусть побольше пьет.

И впрямь привратника все время мучила жажда.

Вернувшись домой, Риэ позвонил своему коллеге Ришару, одному из самых авторитетных врачей города.

– Нет, – ответил Ришар, – за последнее время никаких экстраординарных случаев я не наблюдал.

– Ни одного случая высокой температуры, лихорадки с локальным воспалением?

– Ах да, пожалуй, в двух случаях лимфатические узлы были сильно воспалены.

– Сверх нормы?

– Ну-у, – протянул Ришар, – норма, знаете ли...

Но так или иначе, к вечеру у привратника температура поднялась до 40°, он бредил и жаловался на крыс. Риэ решил сделать ему фиксирующий абсцесс. Почувствовав жжение от терпентина, больной завопил: «Ох, сволочи!»

Лимфатические узлы еще сильнее набрякли, затвердели и на ощупь казались жесткими, как дерево. Жена больного совсем потеряла голову.

– Не отходите от него, – посоветовал доктор. – Если понадобится, позовите меня.

На следующий день, тридцатого апреля, с влажно-голубого неба повеял уже по-весеннему теплый ветер. Он принес из отдаленных пригородов благоухание цветов. Утренние шумы казались звонче, жизнерадостнее обычного. Для всего нашего небольшого городка, сбросившего с себя смутное предчувствие беды, под тяжестью которого мы прожили целую неделю, этот день стал подлинным днем прихода весны. Даже Риэ, получивший от жены бодрое письмо, спустился к привратнику с ощущением какой-то душевной легкости. И в самом деле, температура к утру упала до 38°. Больной слабо улыбнулся, не поднимая головы с подушки.

– Ему лучше, да, доктор? – спросила жена.

– Подождем еще немного.

Но к полудню температура сразу поднялась до 40°, больной не переставая бредил, приступы рвоты участились. Железы на шее стали еще болезненнее на ощупь, и привратник все закидывал голову, как будто ему хотелось держать ее как можно дальше от тела. Жена сидела в изножье постели и через одеяло легонько придерживала ноги больного. Она молча взглянула на врача.

– Вот что, – сказал Риэ, – его необходимо изолировать и провести специальный курс лечения. Я позвоню в госпиталь, и мы перевезем его в карете «скорой помощи».

Часа через два, уже сидя в машине «скорой помощи», доктор и жена больного склонились над ним. С обметанных, распухших губ срывались обрывки слов: «Крысы! Крысы!» Лицо его позеленело, губы стали как восковые, веки словно налились свинцом, дышал он прерывисто, поверхностно и, как бы распятый разбухшими железами, все жался в угол откидной койки, будто хотел, чтобы она захлопнулась над ним, будто какой-то голос, идущий

из недр земли, не переставая звал его, задыхающегося под какой-то невидимой тяжестью. Жена плакала.

– Значит, доктор, надежды уже нет?

– Он скончался, – ответил Риз.

Смерть привратника, можно сказать, подвела черту под первым периодом зловещих предзнаменований и положила начало второму, относительно более трудному, где первоначальное изумление мало-помалу перешло в панику. Прежде никто из наших сограждан даже мысли никогда не допускал – они поняли это только сейчас, – что именно нашему городку предназначено стать тем самым местом, где среди бела дня околевают крысы, а привратники гибнут от загадочных недугов. С этой точки зрения мы, следовательно, заблуждались, и нам пришлось срочно пересматривать свои представления о мире. Если бы дело тем и ограничилось, привычка взяла бы верх. Но еще многим из нас – причем не только привратникам и беднякам – пришлось последовать по пути, который первым проложил мсье Мишель. Вот с этого-то времени и возник страх, а ему сопутствовали раздумья.

Однако прежде чем приступить к подробному описанию дальнейших событий, рассказчик считает полезным привести суждение другого свидетеля касательно этого этапа. Жан Тарру, с которым читатель уже встречался в начале этого повествования, осел в Оране за несколько недель до чрезвычайных событий и жил в одном из самых больших отелей в центре города. Судя по всему, жил он безбедно, на свои доходы. Но хотя город постепенно привык к нему, никто не знал, откуда он взялся, почему живет здесь. Его встречали во всех общественных местах. С первых весенних дней его чаще всего можно было видеть на пляже, где он с явным удовольствием нырял и плавал. Жизнерадостный, с неизменной улыбкой на губах, он, казалось, отдавался всем развлечениям, но отнюдь не был их рабом... И в самом деле, можно назвать только одну его привычку – усердные посещения испанских танцовщиц и музыкантов, которых в нашем городе немало.

Так или иначе, его записные книжки тоже содержат хронику этого трудного периода. Но тут, в сущности, мы имеем дело с совсем особой хроникой, словно автор заведомо поставил себе целью все умять. На первый взгляд кажется, будто Тарру как-то ухитряется видеть людей и предметы в перевернутый бинокль. Среди всеобщего смятения он, по сути дела, старался стать историографом того, что вообще не имеет истории. Разумеется, можно только пожалеть об этой предвзятости и заподозрить душевную черствость. Но при всем том его записки могут пополнить хронику этого периода множеством второстепенных деталей, имеющих, однако, свое значение; более того, сама их своеобычность не позволяет нам судить с налету об этом, безусловно, занятом персонаже.

Первые записки Жана Тарру относятся ко времени его прибытия в Оран. С самого начала в них чувствуется, что автор до странности доволен тем обстоятельством, что попал в такой уродливый город. Там мы находим подробное описание двух бронзовых львов, украшающих подъезд мэрии, вполне благодушные замечания насчет отсутствия зелени, насчет неприглядного вида зданий и нелепой планировки города. Эти замечания Тарру перемежает диалогами, подслушанными в трамваях и на улицах, причем автор избегает любых комментариев, за исключением – но это уже позднее – одного разговора, касающегося некоего Кана. Тарру довелось присутствовать при беседе двух трамвайных кондукторов.

– Ты Кана знал? – спросил первый.

– Какого Кана? Высокого такого, с черными усами?

– Его самого. Он еще работал стрелочником.

– Ну конечно, знал.

– Так вот, он умер.

– Ага, а когда?

– Да после этой истории с крысами.

– Смотри-ка! А что с ним такое было?

– Не знаю, говорят, лихорадка. Да и вообще он слабого здоровья был. Сделались у него нарывы под мышками. Ну, он и не выдержал.

– А ведь с виду был вроде как все.

– Нет, у него грудь была слабая, да еще он играл в духовом оркестре. А знаешь, как вредно дудеть на корнет-а-пистоне.

– Да, – заключил второй, – когда у человека плохое здоровье, нечего ему дудеть на корнете.

Взвесив эти факты, Тарру задумывается над тем, с какой стати Кан явно во вред своим собственным интересам вступил в духовой оркестр и какие скрытые причины побудили его рисковать жизнью ради сомнительного удовольствия участвовать в воскресных шествиях.

Далее Тарру отмечает благоприятное впечатление, которое произвела на него сцена, почти ежедневно разыгрывавшаяся на балконе прямо напротив его окна. Его номер выходил в переулок, где в тени, отбрасываемой стенами, мирно дремали кошки. Но ежедневно после второго завтрака, в те часы, когда сморенный зноем город впадал в полусон, на балконе напротив окна Тарру появлялся старичок. Седовласый, аккуратно причесанный, в костюме военного покроя, старичок, держащийся по-солдатски прямо и строго, негромко скликал кошек ласковым «кис-кис». Кошки, еще не трогаясь с места, подымали на него обесцвеченные сном глаза. Тогда старичок разрывал лист бумаги на маленькие клочки и сыпал их вниз, на улицу и на кошек, а те, соблазнившись роем беленьких бабочек, ступали на мостовую и нерешительно тянулись лапкой к обрывкам бумаги. Тут старичок смачно и метко плевал на кошек. Если хотя бы один плевок достигал цели, он разражался хохотом.

Наконец, нашего Тарру, по-видимому, совсем покорило торговый облик города, где все – и самое оживление, и даже удовольствия – как бы подчинено нуждам коммерции. Эта особенность (именно такой термин мы встречаем в его записях) заслужила одобрение автора, и одна из хвалебных записей даже кончается словами: «Вот оно как!» Только в этих записях и проскальзывают личные нотки. Трудно вполне оценить значение и важность этих заметок. Рассказав историю о том, как кассир отеля, обнаружив дохлую крысу, допустил ошибку в счете, Тарру добавляет менее четким, чем обычно, почерком: «Вопрос: как добиться того, чтобы не терять зря времени? Ответ: прочувствовать время во всей его протяженности. Средства: проводить дни в приемной зубного врача на жестком стуле; сидеть на балконе в воскресенье после обеда; слушать доклады на непонятном для тебя языке; выбирать самые длинные и самые неудобные железнодорожные маршруты и, разумеется, ездить в поездах стоя; торчать в очереди у театральной кассы и не брать билета на спектакль и т.д. и т.п.». Но непосредственно после таких скачков мысли и стиля в записных книжках идут подробнейшие описания наших городских трамваев, формы вагонов, отмечается то, что окрашены они в неопределенно-бурый цвет, что в них всегда грязно, и кончаются эти соображения словами: «Это обращает на себя внимание!», что, в сущности, ничего не объясняет.

Во всяком случае, в записных книжках Тарру есть упоминание об истории с крысами, приводим его слова:

«Сегодня старичок, что живет напротив, явно расстроен. Не стало кошек. Они действительно куда-то испарились, обеспокоенные зрелищем дохлых крыс, которые сотнями валяются на улицах. По-моему, кошки вообще-то дохлых крыс не едят. Во всяком случае, помнится, мои категорически отказывались от этого угощения. Так или иначе, они, должно быть, носятся по подвалам, а старичку от этого одно расстройство. Он даже не так аккуратно причесан, как-то сразу сдал. Чувствуется, что ему не по себе. Постояв с минуту, он ушел в комнаты. Но на прощание все-таки плюнул разок – в пустоту.

Сегодня в городе остановили трамвай, так как обнаружили там дохлую крысу, непонятно откуда взявшуюся. Две-три женщины тут же вылезли. Крысу выбросили. Трамвай двинулся дальше.

В нашем отеле ночной сторож – а он человек, вполне заслуживающий доверия, – сообщил мне, что ждет от крысиного нашествия всяческих бед. «Когда крысы покидают корабль...» Я возразил, что в случае с кораблем это, может, и верно, но в отношении городов это еще не доказано. Однако разубедить его не удалось. Я спросил, какая же беда, по его мнению, грозит нам. Он и сам не знает; беду, по его словам, заранее не угадаешь. Но ничего удивительного нет, если произойдет землетрясение. Я согласился, что это возможно, и он спросил, не пугает ли меня такая перспектива.

– Единственное, что мне важно, – сказал я, – обрести внутренний мир.

И сторож прекрасно меня понял. В ресторане нашего отеля я не раз встречал весьма примечательное семейство. Отец – высокий, тощий, в черной паре, в туго накрахмаленном воротничке. На макушке у него плешь, а над ушами справа и слева торчат два кустика седых волос. Глазки у него маленькие, круглые и жесткие, нос тонкий, рот неестественно растянут, что придает ему сходство с благовоспитанным филином. Каждый раз он распахивает дверь ресторана, потом прижимается к косяку, пропуская жену, маленькую, как черная мышка, входит сам, а за ним семят мальчик и девочка, наряженные, как цирковые собачонки. У столика он стоит, пока жена не займет место, садится сам, а потом уже оба пуделька могут вскарабкаться на стулья. К жене и детям он обращается на вы, отпускает своей половине всяческие колкости и безапелляционным тоном говорит своим отпрыскам:

– Николь, на вас в высшей степени неприятно смотреть.

Девочка еле удерживает слезы. А ему только этого и надо.

Нынче утром мальчик не мог усидеть на месте, так взбудоражила его история с крысами. Он не вытерпел и начал свой рассказ.

– За обедом о крысах не говорят, Филипп. Запрещаю вам раз и навсегда даже произносить слово «крыса».

– Ваш отец совершенно прав, – подхватила черная мышка.

Оба пуделька уткнули носы в тарелку с паштетом, а филин поблагодарил жену кивком головы, который можно было истолковать как угодно.

Пример, достойный подражания, а между тем весь город говорит о крысах. Даже газета вмешалась в это дело. Отдел городской хроники, обычно составленный из самых разных материалов, ведет теперь упорную кампанию против муниципалитета. «Отдают ли себе отчет отцы города, какую опасность представляют разлагающиеся на улицах трупы грызунов?» Директор отеля ни о чем, кроме этих крыс, говорить не может. И неудивительно, для него это зарез. То обстоятельство, что в лифте столь respectable отеля обнаружили крысу, кажется ему непостижимым. Желая его утешить, я сказал: «Но у всех сейчас крысы».

– Вот именно, – ответил он, – теперь мы стали как все.

Это он сообщил мне о первых случаях лихорадки непонятного происхождения, которая вызывает в городе тревогу. Одна из его горничных тоже заболела.

– Но ясно, болезнь не заразная, – поспешил заверить он.

Я сказал, что мне это безразлично.

– О, понимаю. Мсье вроде меня, мсье тоже фаталист.

Ничего подобного я не говорил, и к тому же я вовсе не фаталист. Так я ему и сказал...»

С этого дня в записных книжках Тарру появляются более или менее подробные сведения об этой таинственной лихорадке, уже посеявшей в публике тревогу. После записи о старичке, который терпеливо продолжает совершенствовать свое прицельное плевание, так как после исчезновения крыс снова появились кошки, Тарру добавляет, что уже можно привести десяток случаев этой лихорадки, обычно приводящей к смертельному исходу.

Документальную ценность имеет портрет доктора Ризэ, очерченный Тарру в нескольких строках. Поскольку может судить сам рассказчик, портрет этот достаточно верен.

«На вид лет тридцати пяти. Рост средний. Широкоплечий. Лицо почти квадратное. Глаза темные, взгляд прямой, скулы выдаются. Нос крупный, правильной формы. Волосы темные, стрижется очень коротко. Рот четко обрисован, губы пухлые, почти всегда плотно сжаты. Похож немного на сицилийского крестьянина – такой же загорелый, с иссиня-черной щетиной и к тому же ходит всегда в темном, впрочем, ему это идет.

Походка быстрая. Переходит через улицу, не замедляя шага, и почти каждый раз не просто ступает на противоположный тротуар, а легко вспрыгивает на обочину. Машину водит рассеяннo и очень часто забывает отключить стрелку поворота, даже свернув в нужном направлении. Ходит всегда без шляпы. Вид человека, хорошо осведомленного».

Цифры, приведенные Тарру, полностью соответствовали истине. Уж кто-кто, а доктор Ризэ это знал. После того как труп привратника перевезли в изолятор, Ризэ позвонил Ришару, чтобы посоветоваться с ним насчет паховых опухолей.

– Сам ничего не понимаю, – признался Ришар. – У меня двое тоже умерли, один через двое суток, другой на третий день. А ведь я еще утром его посетил и нашел значительное улучшение.

– Предупредите меня, если у вас будут подобные случаи, – попросил Ризэ.

Он позвонил еще и другим врачам. В результате проведенного опроса выяснилось, что за несколько последних дней отмечено примерно случаев двадцать аналогичного заболевания. Почти все они привели к смертельному исходу. Тогда Ризэ опять позвонил Ришару, секретарю общества врачей Орана, и потребовал, чтобы вновь заболевшие были изолированы.

– Что же я-то могу? – сказал Ришар. – Тут должны принять меры городские власти. А откуда вы взяли, что это болезнь заразная?

– Ниоткуда. Просто симптомы слишком уж тревожные.

Однако Ришар заявил, что в этом вопросе он, мол, «недостаточно компетентен». Все, что он может сделать, – это поговорить с префектом.

Пока шли переговоры, погода испортилась. На следующий день после смерти привратника все небо затянуло густым туманом. На город обрушивались бурные, быстро проходящие дожди. Эти шумные ливни сменялись жарой, как в предгрозье. Даже море утратило свой темно-лазурный цвет и отливало под серым небом серебром, вернее сталью, так, что глазам было больно. По сравнению с влажной жарой нынешней весны даже летний зной казался желанным. В городе, лежащем в виде улитки на плоскогорье и только слегка открытым морю, царило угрюмое оцепенение. Люди, зажатые между бесконечными рядами ветхих стен, в лабиринте улиц с пыльными витринами, в грязно-желтых трамваях, чувствовали себя в плену у этого неба. Один только старик, пациент доктора Ризэ, ликовал – в такую погоду астма его оставляла.

– Печет, – твердил он, – для бронхов оно самое полезное.

И в самом деле пекло, но не просто пекло, пекло и жгло, как при лихорадке. Весь город лихорадило, такое по крайней мере впечатление не оставляло доктора Ризэ в то утро, когда он отправился на улицу Федерб, чтобы присутствовать при расследовании дела о покушении Коттара на самоубийство. Но он тут же счел свое впечатление несуразным. Он приписал это нервному переутомлению, множеству навалившихся на него забот и подумал, что следовало бы взять себя в руки и привести свои мысли в порядок.

До улицы Федерб он добрался раньше полицейского комиссара. Гран уже ждал его на лестнице, и оба решили посидеть пока у него, а дверь на площадку оставить открытой. Служащий мэрии жил в двухкомнатной, довольно убого обставленной квартире. В глаза бросалась только деревянная некрашеная полка, на которой стояли два-три словаря, да грифельная доска на стене, где можно было еще разобрать полустертые слова «цветущие аллеи». По

уверению Грана, Коттар провел ночь спокойно. Но утром он пожаловался на головную боль и вообще показался Грану каким-то безучастным. Сам Гран выглядел усталым и нервничал; он шагал взад и вперед по комнате, то открывая на ходу, то захлопывая лежавшую на столе толстую папку, набитую исписанными листками.

Расхаживая по комнате, он сообщил доктору, что, в сущности, почти не знает Коттара, но предполагает, что у того есть небольшое состояние. Вообще-то Коттар – человек странный. Живут они рядом давно, но, встречаясь в подъезде, только раскланиваются.

– Фактически и разговаривал я с ним всего раза два. Несколько дней назад я уронил на площадке коробку с мелками. Там были красные и синие мелки. Как раз вышел Коттар и помог мне их собрать. Он спросил, для чего нужны разноцветные мелки.

Гран тогда объяснил ему, что намерен восстановить в памяти латынь. Латынь он учил в лицее, но порядком ее позабыл.

– Кстати, меня уверяли, – добавил он, обращаясь к доктору, – что знание латыни помогает глубже проникать в смысл французских слов.

На доске он пишет несколько латинских слов. Синим мелком те части слова, которые изменяются, согласно правилам склонения и спряжения, а красным – те, что остаются неизменными.

– Не знаю, понял ли меня Коттар или нет, во всяком случае, внешне он как будто заинтересовался и попросил у меня красный мелок. Я, конечно, удивился, но в конце концов... Не мог же я предвидеть, что мелок ему понадобится для осуществления своего замысла.

Риэ спросил, о чем шла у них речь во второй раз. Но тут в сопровождении секретаря явился полицейский комиссар и пожелал сначала выслушать показания Грана. Доктор отметил про себя, что Гран, говоря о Коттаре, называет его «человеком отчаявшимся». Он употребил даже слова «роковое решение». Речь шла о мотивах самоубийства, и Гран проявлял крайнюю щепетильность в выборе терминов. Наконец сообща выработали формулировку: «Огорчения интимного характера». Комиссар осведомился, было ли в поведении Коттара что-либо, позволявшее предвидеть то, что он называл «его решение».

– Вчера он постучался ко мне, – сказал Гран, – и попросил спичек. Я дал ему коробок. Он извинился, что побеспокоил меня, но раз уж мы соседи... Потом стал уверять, что сейчас же вернет спички. Я сказал, пускай оставит коробок себе.

Комиссар спросил Грана, не показалось ли ему поведение Коттара странным.

– Одно мне показалось странным – то, что он вроде бы намеревался вступить со мной в беседу. Но мне как раз надо было работать.

Гран обернулся к Риэ и смущенно пояснил:

– Личная работа.

Комиссар выразил желание повидать больного, но Риэ решил, что разумнее будет сначала подготовить Коттара к этому визиту. Когда он вошел к нему в комнату, Коттар в серой фланелевой пижаме приподнялся на постели и тревожно оглянулся на дверь:

– Полиция, да?

– Да, – ответил Риэ, – но волноваться не следует. Всего две-три формальности – и вас оставят в покое.

Но Коттар возразил, что все это ни к чему, а главное, он видеть не может полицию. Риэ не сдержал нетерпеливого жеста.

– Я тоже ее не обожаю. Но с этим делом надо покончить как можно скорее, поэтому отвечайте на вопросы быстро и точно.

Коттар замолчал, и доктор направился к двери. Но больной тут же окликнул его и, когда Риэ подошел, схватил его за руку:

– Скажите, доктор, ведь правда нельзя забирать больного или того, кто хотел повеситься, а?

С минуту Риэ смотрел на Коттара, а потом заверил его, что и речи не было ни о чем подобном, да он и сам явился сюда затем, чтобы защищать интересы своего пациента. Больной, видимо, успокоился, и Риэ позвал комиссара.

Коттару зачитали показания Грана и спросили, может ли он уточнить мотивы своего поступка. Не глядя на комиссара, он подтвердил только, что «огорчения интимного характера – очень хорошо сказано». Комиссар тогда и спросил, не вздумает ли Коттар повторить свою попытку, Коттар с воодушевлением заверил, что не вздумает и желает только одного – чтобы его оставили в покое.

– Разрешите заметить, – раздраженно сказал комиссар, – что в данном случае именно вы нарушаете чужой покой.

Риэ незаметно махнул ему рукой, и комиссар замолчал.

– Нет, вы только подумайте, – вздохнул комиссар, когда они вышли на площадку, – у нас и без того хлопот по горло, особенно сейчас, с этой лихорадкой...

Он осведомился у доктора, серьезно ли это, и Риэ сказал, что сам не знает.

– Тут главное – погода, в ней вся беда, – заключил комиссар.

Разумеется, во всем виновата была погода. День становился все жарче и жарче, вещи, казалось, липнут к рукам, и Риэ с каждым новым визитом укреплялся в своих опасениях. К вечеру того же дня он, попав в предместье, заглянул к соседу своего старого пациента-астматика и увидел, что тот лежит в бреду, схватившись за больной пах, и мучается неукротимой рвотой. Лимфатические узлы опухли у него еще сильнее, чем у их привратника. Один гнойник уже созрел и на глазах врача открылся, как гнилой плод. Вернувшись домой, Риэ позвонил в аптечный склад департамента. В его врачебных заметках под этой датой есть только одна запись: «Ответ отрицательный». А его вызывали уже к новым пациентам с тем же заболеванием. Ясно было одно – гнойники необходимо вскрывать. Два крестообразных надреза ланцетом – и из опухоли вытекала гнойная масса с примесью сукровицы. Больные исходили кровью, лежали как распятые. На животе и на ногах появлялись пятна, истечение из гнойников прекращалось, потом они снова набухали. В большинстве случаев больной погибал среди ужасающего зловония.

Газеты, размазывавшие на все лады историю с крысами, теперь словно в рот воды набрали. Оно и понятно: крысы умирали на улицах, а больные – у себя дома. А газеты интересуются только улицей. Однако префектура и муниципалитет призадумались. Пока каждый врач сталкивался в своей практике с двумя-тремя случаями непонятного заболевания, никто и пальцем не шевельнул. Но достаточно было кому-то сделать простой подсчет, и полученный итог ошеломил всех. За несколько дней смертельные случаи участились, и тем, кто сталкивался с этим загадочным недугом, стало ясно, что речь идет о настоящей эпидемии. Именно в это время доктор Кастель, человек уже пожилой, зашел побеседовать к своему коллеге Риэ.

– Надеюсь, Риэ, вы уже знаете, что это? – спросил он.

– Хочу дождаться результата анализов.

– А я так знаю. И никакие анализы мне не требуются. Я много лет проработал в Китае, да, кроме того, лет двадцать назад наблюдал несколько случаев в Париже. Только тогда не посмели назвать болезнь своим именем. Общественное мнение – это же святая святых: никакой паники, главное – без паники. К тому же один врач мне сказал: «Но это немыслимо, всем известно, что на Западе она полностью исчезла». Знать-то все знали, кроме тех, кто от нее погиб. Да и вы, Риэ, тоже знаете это не хуже меня.

Риэ задумчиво молчал. Из окна кабинета был виден каменистый отрог прибрежных скал, смыкавшихся вдалеке над бухтой. И хотя небо было голубое, сквозь лазурь пробивался какой-то тусклый блеск, меркнувший по мере того, как близился вечер.

– Да, Кастель, – проговорил он, – а все-таки не верится. Но по всей видимости, это чума.

Кастель поднялся и направился к двери.

– Вы сами знаете, что нам ответят, – сказал старик доктор. – «Уже давным-давно она исчезла в странах умеренного климата».

– А что, в сущности, значит «исчезла»? – ответил Риз, пожимая плечами.

– Да, представьте, исчезла. И не забудьте: в самом Париже меньше двадцати лет назад...

– Ладно, будем надеяться, что у нас обойдется так же благополучно, как и там. Но просто не верится.

Слово «чума» было произнесено впервые. Оставим на время доктора Риз у окна его кабинета и позволим себе отступление с целью оправдать в глазах читателя колебания и удивление врача, тем более что первая его реакция была точно такой же, как у большинства наших сограждан, правда, с некоторыми нюансами. Стихийное бедствие и на самом деле вещь довольно обычная, но верится в него с трудом, даже когда оно обрушится на вашу голову. В мире всегда была чума, всегда была война. И однако ж, и чума, и война, как правило, заставляли людей врасплох. И доктора Риз, как и наших сограждан, чума застала врасплох, и поэтому давайте постараемся понять его колебания. И постараемся также понять, почему он молчал, переходя от беспокойства к надежде. Когда разражается война, люди обычно говорят: «Ну, это не может продлиться долго, слишком это глупо». И действительно, война – это и впрямь слишком глупо, что, впрочем, не мешает ей длиться долго. Вообще-то глупость – вещь чрезвычайно стойкая, это нетрудно заметить, если не думать все время только о себе. В этом отношении наши сограждане вели себя, как и все люди, – они думали о себе, то есть были в этом смысле гуманистами: они не верили в бич Божий. Стихийное бедствие не по мерке человеку, потому-то и считается, что бедствие – это нечто ирреальное, что оно-де дурной сон, который скоро пройдет. Но не сон кончается, а от одного дурного сна к другому кончаются люди, и в первую очередь гуманисты, потому что они пренебрегают мерами предосторожности. В этом отношении наши сограждане были повинны не больше других людей, просто они забыли о скромности и полагали, что для них еще все возможно, тем самым предполагая, что стихийные бедствия невозможны. Они по-прежнему делали дела, готовились к путешествиям и имели свои собственные мнения. Как же могли они поверить в чуму, которая разом отменяет будущее, все поездки и споры? Они считали себя свободными, но никто никогда не будет свободен, пока существуют бедствия.

И даже когда сам доктор Риз признался своему другу Кастелю, что в разных частях города с десятков больных без всякого предупреждения взяли и скончались от чумы, опасность по-прежнему казалась ему нереальной. Просто, если ты врач, у тебя составилось определенное представление о страдании, и это как-то подхлестывает твоё воображение. И, глядя в окно на свой город, который ничуть не изменился, вряд ли доктор почувствовал, как в нем зарождается то легкое отвращение перед будущим, что зовется тревогой. Он попытался мысленно свести в одно все свои сведения об этом заболевании. В памяти беспорядочно всплывали цифры, и он твердил про себя, что истории известно примерно три десятка больших эпидемий чумы, унесших сто миллионов человек. Но что такое сто миллионов мертвецов? Пройдя войну, с трудом представляешь себе даже, что такое один мертвец. И поскольку мертвый человек приобретает в твоих глазах весомость, только если ты видел его мертвым, то сто миллионов трупов, рассеянных по всей истории человечества, в сущности, дымка, застилающая воображение. Доктор припомнил, что, по утверждению Прокопия, чума в Константинополе уносила ежедневно десять тысяч человек. Десять тысяч мертвецов – это в пять раз больше, чем, скажем, зрителей крупного кинотеатра. Вот что следовало бы сделать. Собрать людей при выходе из пяти кинотеатров, свести их на городскую площадь и умерт-

вить всех разом – тогда можно было бы себе все это яснее представить, можно было бы различить в этой безликой толпе знакомые лица. Но проект этот неосуществим, да и кто знает десять тысяч человек? К тому же люди, подобные Прокопию, как известно, считать не умели. Семьдесят лет назад в Кантоне сдохло от чумы сорок тысяч крыс, прежде чем бедствие обратилось на самих жителей. Но и в 1871 году не было возможности точно подсчитать количество крыс. Подсчитывали приблизительно, скопом и, конечно, допускали при этом ошибки. Между тем, если одна крыса имеет в длину сантиметров тридцать, то сорок тысяч дохлых крыс, положенные в ряд, составят...

Но тут доктору изменило терпение. Он слишком дал себе волю, а вот этого-то и не следовало допускать. Несколько случаев – это еще не эпидемия, и в общем-то достаточно принять необходимые меры. Следовало держаться того, что уже известно, например, ступор, прострация, покраснение глаз, обметанные губы, головные боли, бубоны, мучительная жажда, бред, пятна на теле, ощущение внутренней распятости, а в конце концов... А в конце концов доктор Риз мысленно подставлял фразу, которой в учебнике завершается перечисление симптомов: «Пульс становится нитеобразным, и любое, самое незначительное движение влечет за собой смерть». Да, в конце концов все мы висим на ниточке, и три четверти людей – это уж точная цифра – спешат сделать то самое незначительное движение, которое их и сразит.

Доктор все еще смотрел в окно. По ту сторону стекла – ясное весеннее небо, а по эту – слово, до сих пор звучавшее в комнате: «чума». Слово это содержало в себе не только то, что пожелала вложить в него наука, но и бесконечную череду самых необычных картин, которые так не вязались с нашим желто-серым городом, в меру оживленным в этот час, скорее приглушенно жужжащим, чем шумным, в сущности-то счастливым, если можно только быть одновременно счастливым и угрюмым. И это мирное и такое равнодушное ко всему спокойствие одним росчерком, без особого труда зачеркивало давно известные картины бедствий: зачумленные и покинутые птицами Афины, китайские города, забитые безгласными умирающими, марсельских каторжников, скидывающих в ров сочащиеся кровью трупы, постройку великой провансальской стены, долженствующей остановить яростный вихрь чумы, Яффу с ее отвратительными нищами, сырые и прогнившие подстилки, валяющиеся прямо на земляном полу константинопольского лазарета, зачумленных, которых тащат крючьями, карнавал врачей в масках во время Черной чумы, соитие живых на погостах Милана, повозки для мертвецов в сраженном ужасом Лондоне и все ночи, все дни, звенящие нескончаемым людским воплем. Нет, даже все это было не в силах убить покой сегоднешнего дня. По ту сторону окна вдруг протренькал невидимый отсюда трамвай и сразу же опроверг жестокость и боль. Разве что море там, за шахматной доской тусклых зданий, свидетельствовало, что в мире есть нечто тревожащее, никогда не знающее покоя. И доктор Риз, глядя на залив, вспомнил о кострах, о них говорил Лукреций, – испуганные недугом афиняне раскладывали костры на берегу моря. Туда ночью сносили трупы, но берега уже не хватало, и живые дрались, пуская в ход факелы, лишь бы отвоевать место в огне тому, кто был им дорог, готовы были выдержать любую кровопролитную схватку, лишь бы не бросить на произвол судьбы своего покойника... Без труда представлялось багровое пламя костров рядом со спокойной темной гладью вод, факельные битвы, потрескивание искр во мраке, густые клубы ядовитого дыма, который подымался к строго внимающему небу. Трудно было не содрогнуться...

Но все это умопомрачение рушилось перед доводами разума. Совершенно верно, слово «чума» было произнесено, совершенно верно, как раз в ту самую минуту просвистел бич и сразил одну или две жертвы. Ну и что же – еще не поздно остановить его. Главное – это ясно осознать то, что должно быть осознано, прогнать прочь бесплодные видения и принять надлежащие меры. И тогда-де чума остановится: ведь человек не может представить себе

чуму или представляет ее неверно. Если она остановится, что всего вероятнее, тогда все образуется. В противном случае люди узнают, что такое чума и нет ли средства сначала ужиться с ней, чтобы уж затем одолеть.

Доктор отворил окно, в комнату ворвался шум города. Из соседней мастерской долетал короткий размеренный визг механической пилы. Риэ встряхнулся. Да, вот что дает уверенность – повседневный труд. Все прочее держится на ниточке, все зависит от того самого незначительного движения. К этому не прилепишься. Главное – это хорошо делать свое дело.

Вот о чем думал доктор Риэ, когда ему доложили, что пришел Жозеф Гран. Хотя Гран служил чиновником в мэрии и занимался там самыми разнообразными делами, время от времени ему, уже в качестве частного лица, поручали составлять статистические таблицы. Так, сейчас он вел подсчет смертных случаев. И, будучи человеком обязательным, охотно согласился лично занести доктору копию своих подсчетов.

Вместе с Граном явился и его сосед Коттар. Чиновник еще с порога взмахнул листком бумаги.

– Цифры растут, доктор, – объявил он, – одиннадцать смертей за последние сорок восемь часов.

Риэ поздоровался с Коттаром, осведомился о его самочувствии. Гран объяснил, что Коттар сам напросился прийти с ним, хотел поблагодарить доктора и принести извинения за доставленные хлопоты. Но Риэ уже завладел списком.

– Н-да, – протянул он, – возможно, пришла пора назвать болезнь ее настоящим именем. До сих пор мы тянули. Пойдемте со мной, мне нужно заглянуть в лабораторию.

– Верно, верно, – твердил Гран, спускаясь вслед за доктором по лестнице. – Необходимо называть вещи своими именами. А как прикажете называть эту болезнь?

– Пока еще я не могу вам ее назвать, впрочем, это вам ничего не даст.

– Вот видите, – улыбнулся Гран. – Не так-то это легко.

Они направились к Оружейной площади. Коттар упорно молчал. На улицах начал появляться народ. Быстротечные сумерки – других в нашем краю и не бывает – уже отступали перед ночным мраком, а на еще светлом небосклоне зажглись первые звезды. Через несколько секунд вспыхнули уличные фонари, и сразу же все небо затянуло черной пеленой и громче стал гул голосов.

– Простите, но я поеду на трамвае, – сказал Гран, когда они добрались до угла Оружейной площади. – Вечера для меня священны. Как говорят у нас на родине: «Никогда не откладывай на завтра...»

Уже не в первый раз Риэ отметил про себя эту страсть Грана, уроженца Монтелимара, ссылаясь в разговоре кстати и некстати на местные речения, да еще непременно добавлять повсеместно бытующие банальные фразы вроде «волшебная погода» или «феерическое освещение».

– Правильно, – подхватил Коттар. – После обеда его из дому не вытащишь.

Риэ спросил Грана, работает ли он вечерами для мэрии. Гран ответил – нет, работает для себя.

– А-а, – протянул Риэ, просто чтобы сказать что-то, – ну и как, идет дело?

– Я работаю уже много лет, значит, как-то идет... Хотя, с другой стороны, особых успехов не заметно.

– А чем, в сущности, вы занимаетесь? – спросил доктор, останавливаясь.

Гран, пробормотав что-то невнятное, нахлобучил на свои оттопыренные уши круглую шляпу... Риэ смутно догадался, что речь идет о каком-то личном самоусовершенствовании. Но Гран уже распрощался и засеменил под фикусами бульвара Марны. У дверей лаборатории Коттар сказал доктору, что очень бы хотел с ним повидаться еще раз и попросить совета.

Риэ, нервно скручивая лежавшую в кармане таблицу, пригласил Коттара зайти к нему на прием, но тут же спохватился и сказал, что послезавтра будет в их квартале и под вечер сам заглянет к нему.

Расставшись с Коттаром, доктор поймал себя на том, что все это время думает о Гране. Он представлял его в самом пекле чумной эпидемии – не такой, конечно, как нынешняя, не слишком грозной, а во время какого-нибудь мора, вошедшего в историю. «Он из тех, кого чума щадит». И тут же Риэ припомнил вычитанное где-то утверждение, будто чума щадит людей тщедушных и обрушивается в первую очередь на людей могучей комплекции. И, продолжая размышлять об этом, доктор решил, что, судя по виду Грана, у него есть своя маленькая тайна.

На первый взгляд Жозеф Гран был самым типичным мелким служащим. Длинный, тощий, в широком не по мерке костюме, очевидно, нарочно покупает на номер больше, надеется, такой дольше будет носиться. В нижней челюсти еще сохранилось несколько зубов, зато в верхней не осталось ни единого. Когда он улыбался, верхняя губа уползала к носу и зияла черная дыра рта. Если добавить к этому портрету походку семинариста, неподражаемое искусство скользить вдоль стен и незаметно протискиваться в двери, да еще застарелый запах подвала и табачного дыма, все повадки личности незначительной, то, согласитесь сами, трудно представить себе такого человека иначе как за письменным столом, сверяющего тариф для городских банно-душевых заведений или подготовляющего для доклада молодому делопроизводителю материалы, касающиеся новой таксы на вывоз мусора и домашних отбросов. Даже самый непредвзятый наблюдатель решил бы, что и родился-то он на свет лишь для того, чтобы выполнять скромную, но весьма полезную работу в качестве сверхштатного служащего мэрии за шестьдесят два франка тридцать сантимов в день.

И действительно, именно такое определение, по словам Грана, фигурировало в его личном деле в графе «Квалификация». Когда двадцать два года назад он из-за отсутствия средств вышел из учебного заведения, не получив диплома, и согласился занять эту должность, ему, по его словам, намекнули, что аттестация не за горами. Следует только в течение некоторого времени проявлять свою компетентность в щекотливых проблемах, которые возникают перед нашей городской администрацией. А потом, уверили его, он непременно дослужится до делопроизводителя, и это позволит ему жить безбедно. Впрочем, не тщеславие владело Жозефом Граном, как он и заверил с грустной улыбкой. Но перспектива обеспеченного и честного существования весьма его манила, тем более что он мог бы тогда с чистой совестью отдаваться любимому занятию. Если он согласился на эту должность, то из самых благородных побуждений и, если так можно выразиться, во имя верности некоему идеалу.

Это неопределенное положение длилось уже долгие годы, жизнь непомерно дорожала, а оклад Грана оставался по-прежнему мизерным, хотя за это время оклады несколько раз повышали. Он пожаловался на это Риэ, ведь никто вроде бы не замечает его положения. Вот здесь-то и коренится самобытность Грана, или, во всяком случае, таков один из ее признаков. Он и в самом деле мог бы сослаться если не на свои права, в которых не был особенно уверен, то, во всяком случае, на данные ему вначале заверения. Но, во-первых, начальник канцелярии, пригласивший его на работу, давно умер, да и сам Гран не помнил, в каких именно выражениях ему посулили повышение. А главное, и, пожалуй, самое главное, было то, что Жозеф Гран не умел находить нужных слов.

Вот эта характерная черта, насколько мог заметить Риэ, особенно ярко рисовала нашего Грана. Именно это и мешало ему всякий раз написать давно задуманную докладную или предпринять другие, соответствующие обстоятельствам шаги. Если верить ему, он чувствовал себя окончательно неспособным употребить как слово «право», ибо сам не был уверен в значении этого понятия, так и слово «обещание», ибо оно прозвучало бы как прямое требование воздать ему должное и, следовательно, граничило бы с дерзостью, не слишком-то умест-

ной для человека, занимающего столь скромное положение. С другой стороны, он наотрез отказывался употреблять такие слова, как «благодарность», «ходатайство», «признательность», так как считал, что это унижает его человеческое достоинство. Так вот из-за невозможности найти точное выражение наш Гран продолжал выполнять самые скромные функции чуть не до седых волос. Впрочем, как опять-таки Гран сам сообщил доктору Риэ, он постепенно стал замечать, что с материальной стороны жизнь его, так или иначе, обеспечена, в основном потому, что он научился приспосабливать свои потребности к своим ресурсам. Тем самым он признавал справедливость любимого изречения нашего мэра, крупного оранского промышленника, который настойчиво уверял, что в конце концов (при этом мэр особенно налегал на слова «в конце концов», ибо на них фактически базировалось все его рассуждение), итак, в конце концов никогда не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь умер с голоду. Во всяком случае, чуть ли не аскетическое существование, которое вел Жозеф Гран, и в самом деле в конце концов освободило его от всех забот такого рода. Он продолжал подыскивать слова.

Скажем прямо, что в известном смысле жизнь его могла служить примером. Он принадлежал к числу людей, достаточно редких как в нашем городе, так и за его пределами, которые имеют мужество отдаваться своим добрым чувствам. То малое, что он поведал о себе доктору, и впрямь свидетельствовало о наличии доброты и сердечных привязанностях, о чем в наши дни не каждый решится сказать вслух. Без краски стыда говорил он, что любит племянников и сестру, единственную оставшуюся у него в живых родственницу, и каждые два года ездит во Францию с ней повидаться. Он не скрывал, что до сих пор воспоминания о родителях, которых он потерял еще в молодости, причиняют ему боль. Признавался, что ему особенно мил один колокол в их квартале – каждый день ровно в пять часов он звонил как-то необыкновенно приятно. Но для выражения даже столь простых чувств он с превеликой мукой подбирал нужные слова. Так что в конце концов именно этот труд по подбору слов стал главной его заботой. «Ах, доктор, – говорил он, – как бы мне хотелось научиться выражать свои мысли!» И при каждой встрече с Риэ он повторял эту фразу.

В этот вечер, глядя вслед удалявшемуся Грану, Риэ вдруг понял, что тот имел в виду: без сомнения, чиновник пишет книгу или что-нибудь в этом роде. Всю дорогу до самой лаборатории, куда он наконец добрался, мысль эта почему-то поддерживала Риэ. Он знал, что это глупо, но он не в состоянии был поверить в то, что чума и в самом деле может обосноваться в городе, где встречаются скромные чиновники, культивирующие какую-нибудь почтенную манию. Точнее говоря, не знал, какое место отвести подобным маниям в условиях чумы, и вывел отсюда заключение, что практически чуме не разгуляться среди наших сограждан.

Назавтра, проявив незаурядную настойчивость, которая многим казалась просто неуместной, доктор Риэ добился от префектуры согласия на созыв санитарной комиссии.

– Что верно, то верно, население встревожено, – признался Ришар. – А главное, еще эта болтовня, все эти преувеличения. Префект мне лично сказал: «Если угодно, давайте действовать быстро, только не подымайте шума». Кстати, он уверен, что это ложная тревога.

Бернар Риэ довез Кастеля в своей машине до префектуры.

– Вам известно, что в департаменте нет сыворотки? – спросил старик.

– Известно. Я звонил на склад. Директор точно с неба свалился. Придется выписывать сыворотку из Парижа.

– Надеюсь, что хоть волокиты не будет.

– Я уже телеграфировал, – ответил Риэ.

Префект встретил членов комиссии хотя и любезно, но не без нервозности.

– Приступим, господа, – сказал он. – Должен ли я резюмировать создавшееся положение?

Ришар считал, что это лишнее. Врачам и так известно положение в городе. Главное, пора уяснить себе, какие меры следует принять.

– Главное, – грубо перебил Ришара старик Кастель, – главное, уяснить себе – чума это или нет.

Кто-то из врачей изумленно ахнул. Остальные, видимо, колебались. А префект даже подскочил на стуле и машинально оглянулся на дверь, как бы желая удостовериться, что это невероятное сообщение не просочилось в коридор. Ришар заявил, что, по его мнению, не следует поддаваться панике: речь идет о лихорадке, правда, осложненной воспалением паховых желез, это все, что можно сказать в данный момент; а в науке, как и в жизни, гипотезы всегда опасны. Старик Кастель, спокойно покусывавший желтый от никотина кончик уса, вскинул на Риэ светлые глаза. Потом благодушным взглядом обвел присутствующих и заметил, что, по его твердому убеждению, как раз это и есть чума. Но ежели признать этот факт официально, то придется принимать драконовские меры. В сущности, он уверен, что именно это пугает его уважаемых коллег, а раз так, он ради их спокойствия охотно готов согласиться, что это не чума. Префект нервно заерзал на стуле и сказал, что при всех условиях такие рассуждения неправильны.

– Важно не то, правильные или нет, важно, чтобы они заставили задуматься.

Так как Риэ молчал, его попросили высказать свое мнение.

– Речь идет о лихорадке тифозного характера, но сопровождаемой образованием бубонов и осложненной рвотами. Я произвел надсечку бубонов. Таким образом я смог сделать анализы, и лаборатория предполагает, что обнаруженный ею микроб, очевидно, чумной. Но ради полной объективности следует добавить, что найденный микроб имеет известные отклонения от классического описания чумного микроба.

Ришар подчеркнул, что именно это обстоятельство и должно насторожить врачей, что необходимо поэтому дождаться результатов целой серии анализов, благо они производятся уже несколько дней.

– Раз микроб способен в течение трех суток в четыре раза увеличить объем селезенки, – после короткой паузы заговорил Риэ, – провоцировать воспаление лимфатических желез брыжейки, причем они достигают размера апельсина и наполнены кашеобразной материей, тут, по-моему, не может быть места для колебаний. Очаги заразы непрестанно множатся. Если не остановить болезнь, принявшую такие размеры, она вполне способна убить половину города в течение двух, а то и меньше месяцев. И стало быть, не так уж важно, как вы будете величать эту болезнь – чумой или лихорадкой. Важно одно – помешать ей убить половину города.

Ришар возразил, что не следует сгущать краски, что заразность болезни к тому же еще не установлена, коль скоро родные заболевших живы и здоровы.

– Но больные-то умирают, – заметил Риэ. – Разумеется, риск заражения – величина не абсолютная, в противном случае болезнь возрастала бы с угрожающей прогрессией и привела бы к молниеносной гибели всего населения. Правильно, не надо сгущать краски. А принимать соответствующие меры надо.

Ришар позволил себе подытожить прения, напомнив присутствующим, что если только эпидемия сама не перестанет расти, придется пресечь ее распространение, применяя строгие меры профилактики, предписанные законом, а чтобы сделать это, нужно официально признать, что речь идет о чуме; но, поскольку пока что нет полной уверенности, надо еще и еще раз все продумать.

– Вопрос не в том, – возразил Риэ, – каковы меры, предписываемые законом, строгие или нет, дело в другом – следует ли прибегнуть к ним, чтобы предотвратить гибель половины города. Все прочее – дело администрации, и не случайно в нашем законодательстве предусмотрены префекты, которым надлежит решать подобные вопросы.

– Бесспорно, – подтвердил префект, – но для этого необходимо, чтобы вы официально признали, что идет речь об эпидемии чумы.

– Если мы и не признаем, – сказал Ризэ, – она все равно уничтожит половину города.

Тут заговорил явно нервничавший Ришар:

– Все дело в том, что наш коллега верит, будто это чума. Это видно хотя бы из его описаний синдрома заболевания.

Ризэ возразил, что он описывал вовсе не синдром, а лишь то, что наблюдал своими собственными глазами. А наблюдал он бубоны, пятна на теле, высокую температуру, бред, летальный исход в течение двух суток. Решится ли господин Ришар со всей ответственностью утверждать, что эпидемия прекратится сама собой без принятия строгих профилактических мер?

Ришар замаялся и взглянул на Ризэ:

– Ответьте мне положа руку на сердце, вы действительно считаете, что это чума?

– Вы не так ставите вопрос. Дело не в терминах, дело в сроках.

– Значит, по вашему мнению, – сказал префект, – чума это, нет ли, все равно следует принять профилактические меры, предписываемые на случай чумных эпидемий.

– Если вам необходимо знать мое мнение, считаю, что это так.

Врачи посоветовались, и Ришар в конце концов заявил:

– Следовательно, нам придется взять на себя ответственность и действовать так, словно болезнь эта и есть чума.

Эта формулировка была горячо поддержана всеми присутствующими.

– А ваше мнение, дорогой коллега? – спросил Ришар.

– Формулировка мне безразлична, – ответил Ризэ. – Скажем проще, мы не вправе действовать так, будто половине жителей нашего города не грозит гибель, иначе они и в самом деле погибнут.

Ризэ уехал, оставив своих коллег в состоянии раздражения. И вскоре где-то в предместье, пропахшем салом и мочой, истошно вопившая женщина с кровоточащими бубонами в паху повернула к нему свое изглоданное болезнью лицо.

На следующий день после совещания болезнь сделала еще один небольшой скачок. Сведения о ней просочились даже в газеты, правда, пока еще в форме вполне безобидных намеков. А еще через день Ризэ прочитал одно из маленьких беленьких объявлений, которые префектура спешно расклеила в самых укромных уголках города. Из них никак уж нельзя было заключить, что власти отдают себе ясный отчет в серьезности создавшегося положения. Предлагаемые меры были отнюдь не драконовскими, и создавалось впечатление, будто власти готовы пожертвовать многим, лишь бы не встревожить общественное мнение. Во вступительной части распоряжения сообщалось, что в коммуне Оран было зарегистрировано несколько случаев злокачественной лихорадки, но пока еще рано говорить о ее заразности. Симптомы заболевания недостаточно характерны, дабы вызвать серьезную тревогу, и нет никакого сомнения, что население сумеет сохранить спокойствие. Тем не менее по вполне понятным соображениям благоразумия префект все же решил принять кое-какие превентивные меры. Эти меры при условии, что они будут правильно поняты и неукоснительно выполняться населением, помогут в корне пресечь угрозу эпидемии. Поэтому префект ни на минуту не сомневается, что среди вверенного ему населения он найдет преданнейших помощников, которые охотно поддержат его личные усилия.

Затем в объявлении приводился список мер, среди коих предусматривалась борьба с грызунами, поставленная на научную ногу: уничтожение крыс с помощью ядовитых газов в водостоках, неусыпный надзор за качеством питьевой воды. Далее гражданам рекомендовалось всячески следить за чистотой, а в конце всем оранцам – разносчикам блох предлагалось

явиться в городские диспансеры. С другой стороны, родные обязаны немедленно сообщать о всех случаях заболевания, установленного врачами, и не препятствовать изоляции больных в специальных палатах больницы. Оборудование палат обеспечивает излечение больных в минимальные сроки с максимальными шансами на полное выздоровление. В дополнительных параграфах говорилось об обязательной дезинфекции помещения, где находился больной, а также перевозочных средств. А во всем прочем власти ограничились тем, что рекомендовали родственникам больных проходить санитарный осмотр.

Доктор Риэ резко отвернулся от афишки и направился к себе домой; там его уже ждал Жозеф Гран и, заметив врача, взмахнул руками.

– Знаю, знаю, – сказал Риэ, – цифры растут.

Накануне в городе умерло около десяти больных. Доктор сказал Грану, что, возможно, вечером они увидятся, так как он собирается навестить Коттара.

– Прекрасная мысль, – одобрил Гран. – Ваши визиты явно идут ему на пользу, он кое в чем переменился.

– В чем же?

– Вежливый стал.

– А раньше не был?

Гран замялся. Сказать прямо, что Коттар невежливый, он не мог – выражение казалось ему неточным. Просто он замкнутый, молчаливый, прямо дикий вепрь какой-то. Да и вся жизнь Коттара ограничивается сидением у себя в комнате, посещением скромного рестораника и какими-то таинственными вылазками. Официально он числился комиссионером по продаже вин и ликеров. Время от времени к нему являлись посетители, два-три человека, очевидно, клиенты. Иногда вечерами ходит в кино напротив их дома. Гран заметил даже, что Коттар отдает явное предпочтение гангстерским фильмам. В любых обстоятельствах комиссионер держался замкнуто и недоверчиво.

Теперь, по словам Грана, все изменилось.

– Боюсь, я не сумею выразиться точно, но у меня, видите ли, создалось впечатление, будто он хочет примириться, что ли, с людьми, завоевать их симпатию. Стал со мной заговаривать, как-то даже предложил пойти вместе погулять, и я не сумел отказаться. Впрочем, он меня интересуется, ведь, в сущности, я спас ему жизнь.

После попытки самоубийства Коттара еще никто не посещал. Он главным образом старался заслужить расположение и соседей, и лавочников. Никогда еще никто так мягко не говорил с бакалейщиками, никогда с таким интересом не выслушивал рассказов хозяйки табачной лавочки.

– Кстати, хозяйка эта чистая ехидна, – добавил Гран. – Я сказал об этом Коттару, а он ответил, что я ошибаюсь, что и в ней тоже есть много хорошего, надо только уметь приглядеться.

Наконец, раза два-три Коттар водил Грана в самые шикарные рестораны и кафе. Он просто стал их завсегдатаем. «Там приятно посидеть, – говорил он, – да и общество приличное». Гран заметил, что весь обслуживающий персонал относится к Коттару с преувеличенным вниманием, и разгадал причину – комиссионер раздавал непомерно крупные чаевые. По всей видимости, Коттар был весьма чувствителен к изъявлениям благодарности со стороны обласканных им официантов. Как-то, когда сам метрдотель проводил их до вестибюля и даже подал ему пальто, Коттар сказал Грану:

– Славный парень и может при случае засвидетельствовать.

– Как засвидетельствовать, что?..

Коттар замялся.

– Ну... ну что я, скажем, неплохой человек.

Впрочем, изредка он еще взрывался по-прежнему. Недавно, когда лавочник был с ним не так любезен, как обычно, он вернулся домой, не помня себя от гнева.

– Экая гадина! С другими снюхался, – твердил он.

– С кем это с другими?

– Да со всеми.

Гран сам присутствовал при нелепейшей сцене, разыгравшейся в табачной лавочке. Коттар с хозяйкой вели оживленную беседу, но вдруг она почему-то заговорила об аресте, происшедшем недавно и нашумевшем на весь Алжир. Речь шла о молодом служащем торговой конторы, который убил на пляже араба.

– Запрятать бы всю эту шваль за решетку, – сказала хозяйка, – тогда бы честные люди могли хоть свободно вздохнуть...

Но фразы своей она кончить не успела, потому что Коттар как оглашенный бросился прочь из лавочки и даже не извинился. Гран и хозяйка обомлели от удивления.

Впоследствии Гран счел необходимым сообщить Риэ еще о кое-каких переменах, происшедших с Коттаром. Тот обычно придерживался весьма либеральных убеждений. Например, любимым его присловьем было: «Большие всегда пожирают малых». Но с некоторых пор он покупает только самую благомыслящую оранскую газету, и невольно создается впечатление, будто он с неким умыслом садится читать ее в общественных местах. Или вот несколько дней назад, уже после выздоровления, он, узнав, что Гран идет на почту, попросил его перевести сто франков сестре – каждый месяц он переводил ей эту сумму. Но когда Гран уже собрался уходить, Коттар его окликнул.

– Пошлите-ка лучше двести франков, – сказал он, – то-то удивится и обрадуется. Она небось считает, что я о ней и думать забыл. Но на самом деле я к ней очень привязан.

Наконец у них с Граном произошла любопытная беседа. Коттар, которого уже давно интриговали вечерние занятия Грана, надел на него с вопросами, и тому пришлось дать ответ.

– Значит, вы пишете книгу? – сказал Коттар.

– Если угодно, да, но это, пожалуй, более сложно!

– Ох, – воскликнул Коттар, – как бы мне тоже хотелось заняться писанием!

Гран не мог скрыть своего удивления, и Коттар смущенно пробормотал, что, мол, с художника все взятки гладки.

– Но почему же? – спросил Гран.

– Просто потому, что художнику дано больше прав, чем всем прочим. Каждому это известно. Ему все с рук сходит.

– Ну что ж, – сказал Риэ Грану в то самое утро, когда он впервые прочел объявление префектуры, – эта история с крысами сбила его с толку, как, впрочем, и многих других. А может, он просто боится заразы.

– Не думаю, – отозвался Гран, – и если, доктор, вы хотите знать мое мнение...

Под окнами, оглушая выхлопами, прошла машина службы дератизации. Риэ молчал и, только когда грохот утих вдали, рассеянно спросил Грана, что же он думает о Коттаре. Гран многозначительно поглядел на доктора.

– У этого человека, – проговорил он, – что-то на совести.

Доктор пожал плечами. Правильно сказал тогда полицейский комиссар – дел без того хватает.

К вечеру у Риэ состоялся разговор с Кастелем. Сыворотка еще не прибыла.

– Да и поможет ли она? – спросил Риэ. – Бацилла необычная.

– Ну, знаете, я придерживаюсь иного мнения, – возразил Кастель. – У этих тварей почему-то всегда необычный вид. Но, в сущности, это одно и то же.

– Вернее, это ваше предположение. Ведь на самом деле мы ничего толком не знаем.

– Понятно, предположение. Но и другие тоже только предполагают.

В течение всего дня доктор ощущал легкое головокружение, оно охватывало его всякий раз при мысли о чуме. В конце концов он вынужден был признать, что ему страшно. Дважды он заходил в переполненное кафе. И он, как Коттар, нуждался в человеческом тепле. Риэ считал, что это глупо, но именно поэтому вспомнил, что обещал нынче навестить комиссионера.

Когда вечером доктор вошел к Коттару, тот стоял в столовой около стола. На столе лежал раскрытый детективный роман. Между тем уже вечерело и читать в сгущавшейся темноте было трудновато. Вернее всего, Коттар еще за минуту до того сидел у стола и размышлял в наступивших сумерках. Риэ осведомился о его самочувствии. Коттар, усаживаясь, буркнул, что ему лучше и было бы совсем хорошо, если бы им никто не занимался. Риэ заметил, что не может человек вечно находиться в одиночестве.

– Да нет, я не о том. Я о тех людях, которые занимаются только одним – как бы всем причинить побольше неприятностей.

Риэ промолчал.

– Заметьте, я не о себе говорю. Я вот тут читал роман. Однажды утром ни с того ни с сего хватают одного бедолагу. Оказывается, им интересовались, а он и не знал. Говорили о нем во всяких бюро, заносили его имя в карточки. Что ж, по-вашему, это справедливо? Значит, по-вашему, люди имеют право проделывать такое с человеком?

– Это уж зависит от обстоятельств, – сказал Риэ. – В известном смысле вы правы, не имеют. Но это вопрос второстепенный. Нельзя вечно сидеть взаперти. Надо почаще выходить.

Коттар, явно нервничая, ответил, что он выходит каждый день и что, если понадобится, весь квартал может за него свидетельствовать. У него даже за пределами их квартала есть знакомые.

– Знаете господина Риго, архитектора? Мы с ним приятели.

В комнате постепенно сгущались сумерки. Окраинная улица оживала, и там, внизу, глухой возглас облегчения приветствовал свет вдруг вспыхнувших фонарей. Риэ вышел на балкон, и Коттар поплелся за ним. Со всех окрестных кварталов, как и ежевечерне в нашем городе, легкий ветерок гнал перед собой шорохи, запах жареного мяса, радостный и благоуханный бормот свободы, до краев переполнявший улицу, где весело шумела молодежь. Еще совсем недавно Риэ любил этот милый час – ночную мглу, хриплые крики невидимых отсюда кораблей, гул, идущий от моря, от растекающейся по улицам толпы. Но сегодня, когда он уже знал все, его не покидало гнетущее чувство.

– Может, зажжем свет? – предложил он Коттару.

Вспыхнул электрический свет, и Коттар, ослепленно моргая, взглянул на врача.

– Скажите, доктор, если я заболел, вы возьмете меня к себе в больницу?

– Почему бы и нет...

Тут Коттар спросил, бывают ли такие случаи, чтобы человека, находящегося на излечении в клинике или в больнице, арестовывали. Риэ ответил, что такое иной раз бывает, но при этом учитывается состояние больного.

– Я вам доверяю, – сказал Коттар.

Потом он спросил, не может ли доктор довезти его до центра на своей машине...

В центре толпа на улицах была уже не такая густая, да и свету поубавилось. Но у подъездов домов еще шумела детвора. По просьбе Коттара доктор остановил машину около стайки ребятишек. Они с громкими криками играли в классы. Один из них, с безупречным пробором в гладко прилизанных волосах, но с чумазой физиономией, вперил в Риэ упорный, смущающий взгляд своих светлых глаз. Риэ потупился. Коттар вышел из машины и, стоя на обочине тротуара, пожал доктору руку. Он заговорил хриплым, сдавленным голосом. При разговоре он то и дело оглядывался.

– Вот люди болтают об эпидемии. Это правда, доктор?

– Люди всегда болтают, оно и понятно, – отозвался доктор.

– Вы правы. Самое большее помрет десяток-другой, подумаешь, невидаль! Нет, нам не это нужно.

Мотор приглушенно взревел. Риэ держал ладонь на рукоятке переключения скоростей. А сам снова взглянул на мальчика, который по-прежнему рассматривал его степенно и важно. И вдруг, без всякого перехода, мальчик улыбнулся ему во весь рот.

– А что, по-вашему, нам нужно? – спросил доктор, улыбаясь в ответ.

Коттар вдруг ухватился за дверцу машины и, прежде чем уйти, крикнул злобным голосом, в котором дрожали слезы:

– Землетрясение, вот что! Да посильнее.

Однако назавтра никакого землетрясения не произошло, и Риэ провел весь день в бесконечных разъездах по городу, в переговорах с родными пациентов и спорах с самими пациентами. Никогда еще профессия врача не казалась Риэ столь тяжелой. До сих пор получалось так, что сами больные облегчали его задачу, полностью ему вверялись. А сейчас, впервые в своей практике, доктор наталкивался на непонятную замкнутость пациентов, словно бы забившихся в самую глубину своего недуга и глядевших на него с недоверием и удивлением. Начиналась борьба, к которой он еще не привык. И когда около десяти вечера машина остановилась перед домом старика астматика – визит к нему Риэ отложил напоследок, – он с трудом поднялся с сиденья. Он медлил, вглядываясь в темную улицу, черное небо, на котором то вспыхивали, то гасли звезды. Старик астматик ждал его, сидя на постели. Дышал он полегче и, как обычно, считал горошины, перекладывая их из одной кастрюли в другую. На доктора он взглянул даже весело:

– Значит, доктор, холера началась?

– Откуда вы взяли?

– В газете прочел, да и по радио тоже объявляли.

– Нет, это не холера.

– Опять наши умники все раздули, – возбужденно отозвался старик.

– А вы не верьте, – посоветовал доктор.

Он уже осмотрел больного и сидел теперь посреди этой жалко обставленной столовой. Да, ему было страшно. Он знал, что вот здесь, в пригороде, его будут ждать завтра утром с десятков больных, не отрывающих глаз от своих бубонов. Только в двух-трех случаях рассечение бубонов принесло положительные результаты. Но для большинства больных единственная перспектива – больница, а он, врач, знал, что такое больница в представлении бедноты. «Не желаю, чтобы они на нем опыты делали», – заявила ему жена одного больного. Никаких опытов они на нем делать не будут, он умрет, и все. Принятые меры недостаточны, это более чем очевидно. А что такое «специально оборудованные палаты», кто-то, а Риэ знал отлично: два корпуса наспех освободят от незаразных больных, окна законопатят, вокруг поставят санитарный кордон. Если эпидемия не угаснет стихийно, ее не одолеть административными мерами такого порядка.

Однако вечерние официальные сообщения были все еще полны оптимизма. Наутро агентство Инфдок объявило, что распоряжение префектуры было встречено населением весьма благожелательно и что уже сообщено о тридцати случаях заболевания. Кастель позвонил Риэ:

– Сколько коек в корпусах?

– Восемьдесят.

– А в городе, надо полагать, больше тридцати больных?

– Да, многие напуганы, а о других, их, верно, гораздо больше, просто еще не успели сообщить.

– А погребение не контролируется?

– Нет. Я звонил Ришару, сказал, что необходимо принять строжайшие меры, а не отыгрываться пустыми фразами и что необходимо воздвигнуть против эпидемии настоящий барьер или вообще тогда уж лучше ничего не делать.

– Ну и что?

– Он не имеет соответствующих полномочий. А по моему мнению, болезнь будет прогрессировать.

И в самом деле, уже через три дня оба корпуса были забиты больными. По сведениям Ришара, собирались закрыть школу и устроить в ней вспомогательный лазарет. Риэ ждал сыворотки и тем временем вскрывал бубоны. Кастель вытащил на свет божий все свои старые книги и часами сидел в библиотеке.

– Крысы дохли от чумы или от какой-то другой болезни, весьма с ней схожей, – пришел он к выводу. – Они распустили блох, десятки тысяч блох, которые, если не принять вовремя мер, будут разносить заразу в геометрической прогрессии.

Риэ молчал.

В эти дни погода, по-видимому, установилась. Солнце выпило последние лужи, стоявшие после недавних ливней. Все располагало к безмятежности – и великолепная голубизна неба, откуда лился желтый свет, и гудение самолетов среди нарождающейся жары. А тем временем за последние четыре дня болезнь сделала четыре гигантских скачка: шестнадцать смертных случаев, двадцать четыре, двадцать восемь и тридцать два. На четвертый день было объявлено об открытии вспомогательного лазарета в помещении детского сада. Наши сограждане, которые раньше старались скрыть свою тревогу под веселой шуткой, ходили теперь пришибленные, как-то сразу примолкли.

Риэ решил позвонить префекту.

– Принятые меры недостаточны.

– Мне дали цифры, – сказал префект, – они и в самом деле тревожные.

– Они более чем тревожны, они не оставляют сомнения.

– Запрошу приказа у генерал-губернатора.

Риэ тут же позвонил Кастелю.

– Приказы! Тут не приказы нужны, а воображение!

– Что слышно насчет сыворотки?

– Прибудет на той неделе.

Через посредство доктора Ришара префектура попросила Риэ составить доклад, который намеревались переслать в столицу колонии, чтобы затребовать распоряжений. Риэ привел в докладе цифры, а также клиническое описание болезни. В тот же день было зарегистрировано около сорока смертных случаев. Префект на свой, как он выражался, риск решил со следующего же дня ввести более строгие меры. По-прежнему горожанам вменялось в обязанность заявлять о всех случаях заболевания, а больные в обязательном порядке подлежали изоляции. Дома, где обнаруживались больные, предписывалось очистить и продезинфицировать; люди, находившиеся в контакте с больными, обязаны были пройти карантин; похоронами займются городские власти, согласно особым указаниям префектуры. А еще через день самолетом прибыла сыворотка. Для лечения заболевших ее хватало. Но если эпидемии суждено распространиться, ее явно не хватит. На телеграфный запрос доктору Риэ ответили, что запасы сыворотки кончились и что приступили к изготовлению новой партии.

А тем временем из всех предместий на рынки пришла весна. Тысячи роз увядали в корзинах, расставленных вдоль тротуаров, и над всем городом веял леденцовый запах цветов. Внешне ничего словно бы не изменилось. По-прежнему в часы пик трамваи были набиты битком, а днем ходили пустые и грязные. Тарру по-прежнему вел наблюдение над старичком, и по-прежнему старичок плевал в кошек. Как и всегда, Гран вечерами спешил домой к

своим загадочным трудам. Коттар кружил по городу, а господин Отон, следовательно, дрессировал свой домашний зверинец. Старик астматик, как обычно, перекладывал свой горошек, и изредка на улицах встречали журналиста Рамбера, спокойно и с любопытством озиравшегося по сторонам. Вечерами все та же толпа высыпала на тротуары, и перед кинотеатрами выстраивались очереди. Впрочем, эпидемия, казалось, отступила, за последние дни насчитывалось только с десяток смертных случаев. Потом вдруг кривая смертности резко пошла вверх. В тот день, когда снова было зарегистрировано тридцать смертей, Бернар Риэ перечитывал официальную депешу, лично врученную ему префектом со словами: «Перетрусили». Депеша гласила: «Официально объявить о чумной эпидемии. Город считать закрытым».

Часть вторая

Можно смело сказать, что именно с этого момента чума стала нашим общим делом. До этого каждый из наших сограждан, несмотря на тревогу и недоумение, порожденные этими из ряда вон выходящими событиями, продолжал как мог заниматься своими делами, оставаясь на своем прежнем месте. И разумеется, так оно и должно было идти дальше. Но как только ворота города захлопнулись, все жители, вдруг и все разом, обнаружили, и сам рассказчик в том числе, что угодили в одну и ту же западню и что придется как-то к ней приспособливаться. Вообразите себе, к примеру, что даже такое глубоко личное чувство, как разлука с любимым существом, неожиданно с первых же недель стало всеобщим, всенародным чувством и наряду с чувством страха сделалось главным терзанием этой долгосрочной ссылки.

И действительно, одним из наиболее примечательных последствий объявления нашего города закрытым было это внезапное разъединение существ, отнюдь к разлуке не подготовленных. Матери и дети, мужья и жены, любовники, которые совсем недавно полагали, что расстанутся со своими близкими на короткий срок, обменивались на перроне нашего вокзала прощальными поцелуями, обычными при отъездах советами, будучи в полной уверенности, что увидятся через несколько дней или же несколько недель, погрязшие в глупейшем человеческом легковерии, не считавшие нужным из-за обычного отъезда пренебречь будничными заботами, – внезапно все они осознали, что разлучены бесповоротно, что им заказано соединиться или сообщаться. Ибо фактически город был закрыт за несколько часов до того, как опубликовали приказ префекта, и, естественно, нельзя было принимать в расчет каждый частный случай. Можно даже сказать, что первым следствием внезапного вторжения эпидемии стало то, что наши сограждане вынуждены были действовать так, словно они лишены всех личных чувств. В первые же часы, когда приказ вошел в силу, префектуру буквально осадила целая толпа просителей, и кто по телефону, кто через служащих выдвигал равно уважительные причины, но вместе с тем равно не подлежащие рассмотрению. По правде говоря, только через много дней мы отдали себе отчет в том, что в нашем положении отпадают всяческие компромиссы и что такие слова, как «договориться», «в порядке исключения», «одоление», уже потеряли всякий смысл.

Нам было отказано даже в таком невинном удовольствии, как переписка. С одной стороны, наш город и на самом деле уже не был связан с остальной страной обычными средствами сообщения, а с другой – еще один приказ категорически запрещал любой вид корреспонденции ввиду того, что письма могли стать разносчиками инфекции. Поначалу кое-кто из привилегированных лиц еще как-то ухитрялся сговариваться с солдатами кордона, и те брались переправить врученные им послания. Однако это имело место лишь в самом начале эпидемии, когда стража еще позволяла себе поддаваться естественному голосу жалости. Но через некоторое время, когда тем же самым стражам разъяснили всю серьезность положения, они наотрез отказывались брать на себя ответственность, так как не могли предвидеть всех последствий своего попустительства. Сначала междугородные разговоры были разрешены, но из-за перегрузки телефонных линий и толчеи в переговорных кабинках они в течение нескольких дней были полностью запрещены, потом стали делать исключения в «особых случаях», например, сообщений о смерти, рождении, свадьбе. Нашим единственным прибежищем остался, таким образом, телеграф. Люди, связанные между собой узами духовными, сердечными и родственными, вынуждены были искать знаков выражения своей прежней близости в простой депеше, в крупных буквах лаконичного телеграфного текста. И так как любые штампы, употребляемые при составлении телеграмм, не могут не иссякнуть,

все – и долгая совместная жизнь, и мучительная страсть – вскоре свелось к периодическому обмену готовыми штампами: «Все благополучно. Думаю о тебе. Целую».

Однако некоторые из нас не сдавались, упорно продолжали писать, денно и нощно изобретали всевозможные хитроумные махинации, чтобы как-то связаться с внешним миром, но их планы кончались ничем. Если даже кое-какие из задуманных нами комбинаций случайно удавались, мы все равно ничего об этом не знали, так как не получали ответа. Поэтому-то в течение многих недель мы вынуждены были вновь и вновь садиться все за одно и то же письмо, сообщать все те же сведения, все так же взывать об ответе, так что через некоторое время слова, которые вначале писались кровью сердца, лишались всякого смысла. Мы переписывали письмо уже машинально, стараясь с помощью этих мертвых фраз подать хоть какой-то знак о нашей трудной жизни. Так что в конце концов мы предпочли этому упрямому и бесплодному монологу, этой выхоленной беседе с глухой стеной условные символы телеграфных призывов.

Впрочем, через несколько дней, когда уже стало ясно, что никому не удастся выбраться за пределы города, кто-то предложил обратиться к властям с запросом, могут ли вернуться обратно выехавшие из Орана до начала эпидемии. После нескольких дней раздумья префектура ответила утвердительно. Но она уточнила, что вернувшиеся обратно ни в коем случае не смогут вновь покинуть город и ежели они вольны вернуться к нам, то не вольны снова уехать. И даже тогда кое-кто из наших сограждан, впрочем, таких было мало, отнесся к создавшейся ситуации чересчур легкомысленно и, откинув благоразумие ради желания повидаться с родными, предложил этим последним воспользоваться предоставившейся возможностью. Но очень скоро узники чумы поняли, какой опасности они подвергают своих близких, и подчинились необходимости страдать в разлуке. В самый разгар этого ужасного мора мы были свидетелями лишь одного случая, когда человеческие чувства оказались сильнее страха перед мучительной смертью. И вопреки ожиданиям это были вовсе не влюбленные, те, что, забыв о самых страшных страданиях, рвутся друг к другу, одержимые любовью. А были это супруги Кастель, состоявшие в браке уже долгие годы. За несколько дней до эпидемии госпожа Кастель уехала в соседний город. Да и брак их никогда не являл миру примера образцового супружеского счастья, и рассказчик с полным правом может сказать, что каждый из них до сих пор был не слишком уверен, что счастлив в супружеской жизни. Но эта грубо навязанная, затянувшаяся разлука со всей очевидностью показала им, что они не могут жить вдали друг от друга, и в свете этой неожиданно прояснившейся истины чума выглядела сущим пустяком.

Но их случай был исключением. Для большинства разлука, очевидно, должна была кончиться только вместе с эпидемией. И для всех нас чувство, проходившее красной нитью через всю нашу жизнь и, по видимости, столь хорошо нам знакомое (мы уже говорили, что страсти у наших сограждан самые несложные), оборачивалось новым своим ликом. Мужья и любовники, которые свято верили своим подругам, вдруг обнаружили, что способны на ревность. Мужчины, считавшие себя легкомысленными в любовных делах, вдруг обрели постоянство. Сын, почти не замечавший жившую с ним рядом мать, теперь с тревогой и сожалением мысленно вглядывался в каждую морщинку материнского лица, не выходявшего из памяти. Эта грубая разлука, разлука без единой лазейки, без реально представимого будущего повергла нас в растерянность, лишила способности бороться с воспоминаниями о таком еще близком, но уже таком далеком видении, и воспоминания эти наполняли теперь все наши дни. В сущности, мы мучились дважды – нашей собственной мукой и затем еще той, которой в нашем воображении мучились отсутствующие – сын, жена или возлюбленная.

Впрочем, при иных обстоятельствах наши сограждане сумели бы найти какой-то выход, могли бы, скажем, вести более деятельный и открытый образ жизни. Но беда в том, что чума обрекала их на ничегонеделание и приходилось день за днем кружить по безот-

радно унылому городу, предаваясь разочаровывающей игре воспоминаний. Ибо в своих бесцельных блужданиях мы вынуждены были бродить по одним и тем же дорогам, а, так как наш городок невелик, дороги эти оказывались в большинстве случаев как раз теми самыми, по которым мы ходили в лучшие времена с теми, с отсутствующими.

Итак, первое, что принесла нашим согражданам чума, было заточение. И рассказчик считает себя вправе от имени всех описать здесь то, что испытал тогда он сам, коль скоро он испытывал это одновременно с большинством своих сограждан. Ибо именно чувством изгнанника следует назвать то состояние незаполненности, в каком мы постоянно пребывали, то отчетливо ощущаемое, безрассудное желание повернуть время вспять или, наоборот, ускорить его бег, все эти обжигающие стрелы воспоминаний. И если иной раз мы давали волю воображению и тешили себя ожиданием звонка у входной двери, возвещающего о возвращении, или знакомых шагов на лестнице, если в такие минуты мы готовы были забыть, что поезда уже не ходят, старались поскорее справиться с делами, очутиться дома в тот час, в какой обычно пассажир, прибывший с вечерним экспрессом, уже добирался до нашего квартала, — все это была игра, и она не могла длиться долго. Неизбежно наступала минута, когда мы ясно осознавали, что поезд не придет. И тогда мы понимали, что нашей разлуке суждено длиться и длиться, что нам следует попробовать приспособиться к настоящему. И, поняв, мы окончательно убеждались, что, в сущности, мы самые обыкновенные узники и одно лишь нам оставалось — прошлое, и если кто-нибудь из нас пытался жить будущим, то такой смельчак спешил отказаться от своих попыток, в той мере, конечно, в какой это удавалось, до того мучительно ранило его воображение, неизбежно ранящее всех, кто доверяется ему.

В частности, все наши сограждане очень быстро отказались от появившейся было у них привычки подсчитывать даже на людях предполагаемые сроки разлуки. Почему? Если самые заядлые пессимисты определяли этот срок, скажем, в полгода, если они уже заранее вкусили горечь грядущих месяцев, если они ценою огромных усилий старались поднять свое мужество до уровня выпавшего на их долю испытания, крепились из последних сил, лишь бы не падать духом, лишь бы удержаться на высоте этих страданий, растянутых на многие месяцы, то иной раз встреча с приятелем, заметка в газете, мимолетное подозрение или внезапное прозрение приводили их к мысли, что нет, в сущности, никаких оснований надеяться, что эпидемия затихнет именно через полгода — а почему бы и не через год или еще позже.

В такие минуты полный крах их мужества, воли и терпения бывал столь внезапен и резок, что казалось, никогда им не выбраться из ямы, куда они рухнули. Поэтому-то они принуждали себя ни при каких обстоятельствах не думать о сроках освобождения, не обращать свой взгляд к будущему и жить с опущенными, если так можно выразиться, глазами. Но естественно, эти благие порывы, это старание обмануть боль — спрятать шпагу в ножны, чтобы отказаться от боя, — все это вознаграждалось весьма и весьма скудно. И если им удавалось избежать окончательного краха, а они любой ценой хотели его предотвратить, они тем самым лишали себя минут, и нередких, когда картины близкого воссоединения с любимым существом заставляют забыть о чуме. И, застряв где-то на полпути между этой бездной и этими горными вершинами, они не жили, их несло волною вырвавшихся из повиновения дней и бесплодных воспоминаний — они, беспокойные, блуждающие тени, которые могли обрести плоть и кровь, лишь добровольно укоренившись в земле своих скорбей.

Таким образом, они испытывали исконную муку всех заключенных и всех изгнанников, а мука эта вот что такое — жить памятью, когда память уже ни на что не нужна. Само прошлое, о котором они думали не переставая, и то приобретало привкус сожаления. Им хотелось бы присовокупить к этому прошлому все, что, к величайшему своему огорчению, они не успели сделать, перечувствовать, когда еще могли, вместе с тою или с тем, кого они

теперь ждали, и совершенно так же ко всем обстоятельствам, даже относительно благополучным, их теперешней жизни узников они постоянно примешивали отсутствующих, и то, как они жили ныне, не могло их удовлетворить. Нетерпеливо подгонявшие настоящее, враждебно косящиеся на прошлое, лишённые будущего, мы были подобны тем, кого людское правосудие или людская злоба держат за решеткой. Короче, единственным средством избежать эти непереносимо затянувшиеся каникулы было вновь пустить, одною силою воображения, поезда по рельсам и заполнить пустые часы ожиданием, когда же затренькает звонок у входной двери, впрочем, упорно молчавший.

Но если это и была ссылка, то в большинстве случаев мы были ссыльными у себя дома. И хотя рассказчик знал лишь одну, общую для всех нас ссылку, он обязан не забывать таких, как, скажем, журналист Рамбер, и других, для которых, напротив, все муки нашего отъединения от остального мира усугублялись еще и тем, что они, путешественники, застигнутые врасплох чумой и не имевшие права покинуть город, находились далеко и от близких, с которыми не могли воссоединиться, и от страны, которая была их родной страной. Среди нас, ссыльных, они были вдвойне ссыльными, ибо если бег времени неизбежно вызывал у них, как, впрочем, и у всех, тоскливый страх, то они сверх того ощущали еще себя привязанными к определенному месту и непрерывно натывались на стены, отделявшие их зачумленный загон от утраченной ими родины. Это они, конечно, в любое время дня шатались по нашим пыльным улицам, молча взывая к лишь одним им ведомым закатам и рассветам своей отчизны. Они растревали свою боль по любому поводу: полет ласточки, вечерняя роса на траве, причудливое пятно, оставленное на тротуаре пустынной улицы лучом, – все было в их глазах неуловимым знамением, разочаровывающей вестью оттуда. Они закрывали глаза на внешний мир, извечный целитель всех бед, и, упрямы, лелеяли слишком реальные свои химеры, изо всех сил цеплялись за знакомые образы – земля, где льется совсем особый свет, два-три пригорка, любимое дерево и женские лица составляли ту особую атмосферу, которую ничем не заменишь.

И наконец, если остановиться именно на влюбленных, на самой примечательной категории изгнанников, о которых рассказчик может, пожалуй, говорить с наибольшим основанием, их терзала еще и иная тоска, где важное место занимали угрызения. В теперешнем нашем положении они имели полную возможность увидеть свои чувства взглядом, равно объективным и лихорадочным. И чаще всего в этих случаях их собственные слабости выступали тогда перед ними во всей своей наготе. И в первую очередь потому, что они относили на счет собственных недостатков невозможность с предельной точностью представить себе дела и дни своих любимых. Они скорбели оттого, что не знают, чем заполнено их время, они корили себя за легкомыслие, за то, что прежде не удосуживались справиться об этом, и притворялись, будто не понимают, что для любящего знать в подробностях, что делает любимое существо, есть источник величайшей радости. И таким образом им уже было легче вернуться к истокам своей любви и шаг за шагом обследовать все ее несовершенство. В обычное время мы все, сознавая это или нет, понимаем, что существует любовь, для которой нет пределов, тем не менее соглашаемся, и даже довольно спокойно, что наша-то любовь, в сущности, так себе, второго сорта. Но память человека требовательнее. И в силу железной логики несчастье, пришедшее к нам извне и обрушившееся на весь город, принесло нам не только незаслуженные мучения, на что еще можно было бы понегодовать. Оно принуждало нас также терзать самих себя и тем самым, не протестуя, принять боль. Это был один из способов, которым эпидемия отвлекала внимание от себя и путала все карты.

Итак, каждый из нас вынужден был жить ото дня ко дню один, лицом к лицу с этим небом. Эта абсолютная всеобщая заброшенность могла бы со временем закалить характеры, но получилось иначе, люди становились как-то суетнее. Многие из наших сограждан, к примеру, подпали под ярмо иного рабства, эти, что называется, находились в прямой

зависимости от вёдра или ненастья. При виде их начинало казаться, будто они впервые и непосредственно замечают стоящую на дворе погоду. Стоило пробежать по тротуару незамысловатому солнечному зайчику – и они уже расплывались в довольной улыбке, а в дождливые дни их лица да и мысли тоже окутывало густой пеленой. А ведь несколькими неделями раньше они умели не поддаваться этой слабости, этому дурацкому порабощению, потому что тогда они были перед лицом вселенной не одни и существо, бывшее с ними раньше, в той или иной степени заслоняло их мир от непогоды. Теперь же они, по всей видимости, оказались во власти небесных капризов, другими словами, мучились, как и все мы, и, как все мы, питали бессмысленные надежды.

И наконец, в этом обострившемся до пределов одиночества никто из нас не мог рассчитывать на помощь соседа и вынужден был оставаться наедине со всеми своими заботами. Если случайно кто-нибудь из нас пытался довериться другому или хотя бы просто рассказать о своих чувствах, следовавший ответ, любой ответ, обычно воспринимался как оскорбление. Тут только он замечал, что он и его собеседник говорят совсем о разном. Ведь он-то вещал из самых глубин своих бесконечных дум все об одном и том же, из глубины своих мук, и образ, который он хотел открыть другому, уже давно томился на огне ожидания и страсти. А тот, другой, напротив, мысленно рисовал себе весьма банальные эмоции, обычную расхожую боль, стандартную меланхолию. И каков бы ни был ответ – враждебный или вполне благожелательный, он обычно не попадал в цель, так что приходилось отказываться от попытки душевных разговоров. Или, во всяком случае, те, для которых молчание становилось мукой, волей-неволей прибегали к расхожему жаргону и тоже пользовались штампованным словарем, словарем простой информации из рубрики происшествий – словом, чем-то вроде газетного репортажа, ведь никто вокруг не владел языком, идущим прямо от сердца. Поэтому-то самые доподлинные страдания стали постепенно и привычно выражаться системой стертых фраз. Только такой ценой узники чумы могли рассчитывать на сочувственный вздох привратника или надеяться завоевать интерес слушателей.

Однако, и, пожалуй, это самое существенное, как бы мучительны ни были наши страхи, каким бы до странности тяжелым камнем ни лежало в груди это пустое сердце, можно смело сказать, что изгнанники этой категории были в первый период мора как бы привилегированными. И в самом деле, когда жители были охвачены смятением, у изгнанников этого сорта все помыслы без остатка были обращены к тем, кого они ждали. Среди всеобщего отчаяния их хранил эгоизм любви, и если они вспоминали о чуме, то всегда лишь в той мере, в какой она угрожала превратить их временную разлуку в вечную. В самом пекле эпидемии они находили это спасительное отвлечение, которое можно было принять за хладнокровие. Бездна надежд спасала их от паники, самое горе шло им во благо. Если, скажем, такого человека уносила болезнь, то почти всегда больной даже не имел времени опомниться. Его грубо отрывало от бесконечного внутреннего диалога, который он вел с любимой тенью, и без всякого перехода погружало в нерушимейшее молчание земли. А он и не успевал этого заметить.

Пока наши сограждане старались сжиться с этой неожиданной-негаданной ссылкой, чума выставила у ворот города кордоны и сворачивала с курса суда, шедшие к Орану. С того самого дня, когда Оран был объявлен закрытым городом, ни одна машина не проникла к нам. И теперь нам стало казаться, будто автомобили бессмысленно кружат все по одним и тем же улицам. Да и порт тоже представлял собой странное зрелище, особенно если смотреть на него сверху, с бульваров. Обычное оживление, благодаря которому он по праву считался первым портом на побережье, вдруг сразу стихло. У пирса стояло лишь с пяток кораблей, задержанных в связи с карантином. Но у причалов огромные, ненужные теперь краны, перевернутые набок вагонетки, какие-то удивительно одинокие штабеля бочек или мешков – все это красноречиво свидетельствовало о том, что коммерция тоже скончалась от чумы.

Вопреки этой непривычной картине наши сограждане лишь с трудом отдавали себе отчет в том, что с ними приключилось. Конечно, существовали общие для всех чувства, скажем, разлуки или страха, но для многих на первый план властно выступали свои личные заботы. Фактически никто еще не принимал эпидемии. Большинство страдало, в сущности, от нарушения своих привычек или от ущемления своих деловых интересов. Это раздражало или злило, а раздражение и злость не те чувства, которые можно противопоставить чуме. Так, первая их реакция была – во всем винить городские власти. Ответ префекта этим критикам, к которым присоединилась и пресса («Нельзя ли рассчитывать на смягчение принимаемых мер?»), был прямо-таки неожиданным. До сих пор ни газеты, ни агентство Инфдок не получали официальных статистических данных о ходе болезни. Теперь префект ежедневно сообщал эти данные агентству, но просил, чтобы публиковали их в виде еженедельной сводки.

Но и тут еще публика опомнилась не сразу. И впрямь, когда на третью неделю появилось сообщение о том, что эпидемия унесла триста два человека, эти цифры ничего не сказали нашему воображению. С одной стороны, может, вовсе не все они умерли от чумы. И с другой – никто в городе не знал толком, сколько человек умирает за неделю в обычное время. В городе насчитывалось двести тысяч жителей. А может, этот процент смертности вполне нормален? И хотя такие данные представляют несомненный интерес, обычно никого они не трогают. В известном смысле публике недоставало материала для сравнения. Только много позже, убедившись, что кривая смертности неуклонно ползет вверх, общественное мнение осознало истину. И на самом деле, пятая неделя эпидемии дала уже триста двадцать один смертный случай, а шестая – триста сорок пять. Вот этот скачок оказался весьма красноречивым. Однако он был еще недостаточно резок, и наши сограждане, хоть и встревожились, все же считали, что речь идет о довольно досадном, но в конце концов преходящем эпизоде.

По-прежнему они бродили по улицам, по-прежнему часами просиживали на террасах кафе. На людях они не праздновали труса, не жаловались, а прибегали к шутке и делали вид, будто все эти неудобства, явно временного порядка, не могут лишить их хорошего настроения. Приличия были, таким образом, соблюдены. Однако к концу месяца, примерно в молитвенную неделю (речь о ней пойдет позже), более серьезные изменения произошли во внешнем облике нашего города. Сначала префект принял меры, касающиеся движения транспорта и снабжения. Снабжение было лимитировано, а продажа бензина строго ограничена. Предписывалось даже экономить электроэнергию. В Оран наземным транспортом и с воздуха поступали лишь предметы первой необходимости. Таким образом, движение транспорта уменьшалось со дня на день, пока не свелось почти к нулю, роскошные магазины закрывались один за другим, в витринах менее роскошных красовались объявления, сообщающие, что таких-то и таких-то товаров в продаже нет, между тем как у дверей выстраивались длинные очереди покупателей.

В общем, Оран приобрел весьма своеобразный вид. Значительно возросло число пешеходов, даже в те часы, когда улицы обычно пустовали, множество людей, вынужденных бездействовать в связи с закрытием магазинов и контор, наводняли бульвары и кафе. Пока что они считались не безработными, а были, так сказать, в отпуску. Итак, в три часа дня под прекрасным южным небом Оран производил обманчивое впечатление города, где начался какой-то праздник, где нарочно заперли все магазины и перекрыли автомобильное движение, чтобы не мешать народной манифестации, а жители высыпали на улицы с целью принять участие во всеобщем веселье.

Понятно, кинотеатры широко пользовались этими всеобщими каникулами и делали крупные дела. Но распространение фильмов в нашем департаменте прекратилось. Через две недели кинотеатры уже вынуждены были обмениваться друг с другом программами, а вскоре на экранах шли бессменно все одни и те же фильмы. Однако сборы не падали.

Точно так же и кафе благодаря тому, что наш город вел в основном торговлю вином и располагал солидными запасами алкоголя, могли бесперебойно удовлетворять запросы клиентов. Откровенно сказать, пили крепко. Одно кафе извещало публику, что «чем больше пьешь, тем скорее микроба убьешь», и вера в то, что спиртное предохраняет от инфекционных заболеваний – мысль, впрочем, вполне естественная, – окончательно окрепла в наших умах. После двух часов ночи пьяницы, в немалом количестве изгнанные из кафе, до рассвета толклись на улицах и делали оптимистические прогнозы.

Но все эти перемены в каком-то смысле были столь удивительны и произошли они так молниеносно, что нелегко было считать их нормальными и прочными. В результате для нас на первом плане по-прежнему стояли личные чувства.

Через два дня после того, как город был объявлен закрытым, Риэ, выйдя из лазарета, наткнулся на Коттара, который поднял на него сияющее радостью лицо. Риэ поздравил его с полным выздоровлением, если, конечно, судить по виду.

– Верно, верно, я себя прекрасно чувствую, – подтвердил Коттар. – Скажите-ка, доктор, а ведь эта сволочная чума начинает всерьез забирать, а?

Доктор признал это. А Коттар не без удовольствия заметил:

– И причин-то вроде нет, чтобы эпидемия прекратилась. Все пойдет шиворот-навыворот.

Часть пути они прошли вместе. Коттар рассказал, что владелец большого продовольственного магазина в их квартале скупал направо и налево продукты, надеясь потом перепродать их по двойной цене, когда же за ним пришли санитары и повезли его в лазарет, они обнаружили под кроватью целый склад консервов. «Ясно, помер, нет, на чуме не наживешься». Вообще у Коттара имелась в запасе целая серия рассказов об эпидемии, и правдивых, и выдуманных. Например, ходила легенда, что какой-то человек, заметив первые признаки заражения, выскочил в полубреду на улицу, бросился к проходившей мимо женщине и крепко прижал ее к себе, вопя во все горло, что у него чума.

– Чудесно! – заключил Коттар любезным тоном, не ввязавшимся с его дальнейшими словами. – Скоро все мы с ума посходим, уж поверьте!

В тот же день, ближе к вечеру, Жозеф Гран наконец-то набрался решимости и пустился с Риэ в откровенности. Началось с того, что он заметил на письменном столе доктора фотографию мадам Риэ и вопросительно взглянул на своего собеседника. Риэ ответил, что жена его находится не в городе, она лечится. «В каком-то смысле, – сказал Гран, – это скорее удача». Доктор ответил, что это, безусловно, удача и остается только надеяться, что его жена окончательно выздоровеет.

– А-а, – протянул Гран, – понимаю, понимаю.

И впервые со дня их знакомства Гран разразился многословной речью. Правда, он еще подыскивал нужные слова, но почти тут же их находил, будто уже давным-давно все это обдумал.

Женился он совсем молодым на юной небогатой девушке, их соседке. Ради этого пришлось бросить учение и поступить на работу. Ни он, ни Жанна никогда не переступали рубежа их родного квартала. Он повадился ходить к Жанне, и ее родители подсмеивались над нескладным и на редкость молчаливым ухажером. Отец Жанны был железнодорожником. В свободные часы он обычно сидел в уголку у окна и задумчиво смотрел на снующий по улицам народ, положив на колени свои огромные лапищи. Мать с утра до ночи возилась по хозяйству, Жанна ей помогала. Была она такая маленькая и тоненькая, что всякий раз, когда она переходила улицу, у Грана от страха замирало сердце. Все машины без исключения казались ему тогда опасными мастодонтами. Как-то раз перед Рождеством Жанна в восхищении остановилась перед празднично украшенной витриной и, подняв на своего спутника глаза, прошептала: «До чего ж красиво!» Он сжал ее запястье. Так было решено пожениться.

Конец истории, по словам Грана, был весьма прост. Такой же, как у всех: женятся, еще любят немножко друг друга, работают. Работают столько, что забывают о любви. Жанна тоже вынуждена была поступить на службу, поскольку начальник не сдержал своих обещаний. Тут, чтобы понять дальнейший рассказ Грана, доктору пришлось призвать на помощь воображение. Гран от неизбывной усталости как-то сник, все реже и реже говорил с женой и не сумел поддержать ее в убеждении, что она любима. Муж, поглощенный работой, бедность, медленно закрывавшиеся пути в будущее, тяжелое молчание, нависавшее вечерами над обеденным столом, – нет в таком мире места для страсти. Очевидно, Жанна страдала. Однако она не уходила. Так бывает нередко – человек мучается, мучается и сам того не знает. Шли годы. Потом она уехала. Не одна, разумеется. «Я очень тебя любила, но я слишком устала... Я не так уж счастлива, что уезжаю, но ведь для того, чтобы заново начать жизнь, не обязательно быть счастливой». Вот примерно, что она написала.

Жозеф Гран тоже немало страдал. И он бы мог начать новую жизнь, как справедливо заметил доктор. Только он уже не верит в такие вещи.

Просто-напросто он все время думает о ней. Больше всего ему хотелось бы написать Жанне письмо, чтобы как-то оправдать себя в ее глазах. «Только трудно очень, – добавил он. – Я уже давным-давно об этом думаю. Пока мы друг друга любили, мы обходились без слов и так все понимали. Но ведь любовь проходит. Мне следовало бы тогда найти нужные слова, чтобы ее удержать, а я не нашел». Гран вытащил из кармана похожий на салфетку носовой платок в клеточку и шумно высморкался, потом обтер усы. Риэ молча смотрел на него.

– Простите меня, доктор, – сказал старик, – но как бы получше выразиться... Я чувствую к вам доверие. Вот с вами я могу говорить. Ну и, конечно, волнуюсь.

Было ясно, что мыслями Гран за тысячу верст от чумы.

Вечером Риэ послал жене телеграмму и сообщил, что город объявлен закрытым, что он здоров, что пусть она и впредь получше следит за собой и что он все время о ней думает.

Через три недели после закрытия города Риэ, выходя из лазарета, наткнулся на поджидавшего его молодого человека.

– Надеюсь, вы меня узнаете, – сказал тот.

И Риэ почудилось, будто он где-то его видел, но не мог вспомнить где.

– Я приходил к вам еще до всех этих событий, – проговорил незнакомец, – просил у вас дать мне сведения относительно условий жизни арабов. Меня зовут Раймон Рамбер.

– Ах да, – вспомнил Риэ. – Ну что ж, теперь у вас богатый материал для репортажа.

Рамбер явно нервничал. И ответил, что речь идет не о репортаже и что пришел он к доктору просить содействия.

– Я должен перед вами извиниться, – добавил он, – но я никого в городе не знаю, а корреспондент нашей газеты, к несчастью, форменный болван.

Риэ предложил Рамберу дойти с ним вместе до центра, доктору надо было заглянуть по делам в диспансер. Они зашагали по узким улочкам негритянского квартала. Спускался вечер, но город, когда-то шумный в этот час, казался теперь удивительно пустынным. Только звуки труб, взлетавшие к позлащенному закату небу, свидетельствовали о том, что военные еще выполняют свои обязанности, вернее, делают вид, что выполняют. Пока они шли по крутым улицам между двух рядов ярко-синих, желтых и фиолетовых домов в мавританском стиле, Рамбер все говорил, и говорил очень возбужденно. В Париже у него осталась жена. По правде сказать, не совсем жена, но это не важно. Когда город объявили закрытым, он ей телеграфировал. Сначала он думал, что все это не затянется надолго, и стал искать способ наладить с ней регулярную переписку. Его коллеги, оранские журналисты, прямо так и сказали, что ничего сделать не могут, на почте его просто прогнали, секретарша в префектуре

нагло расхохоталась ему в лицо. В конце концов, простояв на телеграфе два часа в длиннейшей очереди, он послал депешу следующего содержания: «Все благополучно. До скорого».

Но на другое утро, поднявшись с постели, он вдруг подумал, что в конце концов никто не знает, как долго все это продлится. Поэтому он решил уехать. Так как у него было рекомендательное письмо, он сумел пройти к начальнику канцелярии префектуры (журналисты все-таки пользуются кое-какими поблажками). Рамбер лично явился к нему и сказал, что никакого отношения к Орану не имеет, что нечего ему здесь торчать зря, что очутился он здесь чисто случайно и будет справедливо, если ему разрешат уехать, пусть даже придется пройти полагающийся карантин. Начальник канцелярии ответил, что прекрасно его понимает, но ни для кого исключения сделать не может, что он посмотрит, но в общем-то положение достаточно серьезное и что он сам ничего не решает.

– Но ведь я в вашем городе чужой, – добавил Рамбер.

– Совершенно верно, но все же будем надеяться, что эпидемия не затянется.

Желая подбодрить Рамбера, доктор заметил, что в Оране сейчас уйма материала для интереснейшего репортажа и что, по здравом рассуждении, нет ни одного даже самого приискорбного события, в котором не было бы своих хороших сторон. Рамбер пожал плечами. Они уже подходили к центру города.

– Но поймите меня, доктор, это же глупо. Я родился на свет не для того, чтобы писать репортажи... А может, я родился на свет, чтобы любить женщину. Разве это не в порядке вещей?

Риэ ответил, что такая мысль, по-видимому, вполне разумна.

На центральных бульварах не было обычной толпы. Им попало только несколько пешеходов, торопившихся к себе домой на окраину города. Ни одного улыбающегося лица. Риэ подумалось, что, очевидно, таков результат сводки, опубликованной как раз сегодня агентством Инфдок. Через сутки наши сограждане снова начнут питать надежду. Но сегодняшние цифры, опубликованные днем, были еще слишком свежи в памяти.

– Дело в том, – без перехода сказал Рамбер, – дело в том, что мы с ней встретились совсем недавно и, представьте, прекрасно ладим.

Риэ промолчал.

– Впрочем, я вам, очевидно, надоел, – продолжал Рамбер. – Я хотел вас только вот о чем попросить: не могли бы вы выдать мне удостоверение, где бы официально подтверждалось, что у меня нет этой чертовой чумы. Думаю, такая бумажка пригодилась бы.

Риэ молча кивнул и как раз успел подхватить мальчугана, с размаху ткнувшегося головой в его колени, и осторожно поставил его на землю. Они снова тронулись в путь и очутились на Оружейной площади. Понурые, словно застывшие, фикусы и пальмы окружали серым пыльным кольцом статую Республики, тоже пыльную и грязную. Они остановились у постамента. Риэ постучал о землю ногой, сначала правой, потом левой, надеясь стряхнуть беловатый налет. Украдкой он взглянул на Рамбера. Тот стоял, сбив на затылок фетровую шляпу, небритый, обиженно надув губы, даже пуговку на воротничке – ту, что под галстуком, – не удосужился застегнуть, а в глазах застыло упрямое выражение.

– Поверьте, я вас отлично понимаю, – наконец проговорил Риэ, – но в ваших рассуждениях вы исходите из неправильных посылок. Я не могу выдать вам справку, потому что и в самом деле не знаю, больны вы этой болезнью или нет, и, даже если вы здоровы, я не могу поручиться, что как раз в ту долю минуты, когда вы выберетесь из моего кабинета и войдете в префектуру, вы не подхватите инфекцию. А впрочем, даже если...

– Что даже если? – переспросил Рамбер.

– Даже если бы я дал такую справку, она все равно вам бы не пригодилась.

– Почему это?

– Потому что в нашем городе есть тысячи людей, находящихся в таком же положении, как и вы, и, однако, мы не имеем права их отсюда выпускать.

– Но ведь они-то чумой не больны!

– Это недостаточно уважительная причина. Согласен, положение дурацкое, но мы все попали в ловушку. И приходится с этим считаться.

– Но ведь я не здешний.

– С известного момента, увы, вы тоже станете здешним.

Рамбер разгорячился:

– Но клянусь честью, это же вопрос человечности! Возможно, вы не отдаете себе отчет в том, что означает такая разлука для двух людей, которые прекрасно ладят друг с другом.

Риэ ответил не сразу. Потом сказал, что, очевидно, все-таки отдает. Больше того, всеми силами души он желает, чтобы Рамбер воссоединился со своей женой, чтобы вообще все любящие поскорее были вместе, но существуют, к сожалению, вполне определенные распоряжения и законы, а главное, существует чума; его же личная роль сводится к тому, чтобы делать свое дело.

– Нет, – с горечью возразил Рамбер, – вам этого не понять. Вашими устами вещает разум, вы живете в мире абстракций.

Доктор вскинул глаза на статую Республики и ответил, что вряд ли его устами вещает разум, в этом он не уверен, скорее уж голая очевидность, а это не всегда одно и то же. Журналист поправил галстук.

– Иными словами, придется изворачиваться как-нибудь иначе, так я вас понял? Все равно, – с вызовом заключил он, – я из города уеду.

Доктор сказал, что он опять-таки понимает Рамбера, но такие вещи его не касаются.

– Нет, касаются, – внезапно взорвался Рамбер, – я потому и обратился к вам, что, по слухам, именно вы настаивали на принятии драконовских мер. Ну я и подумал, что хотя бы в виде исключения, хотя бы только раз вы могли бы отменить подсказанные вами же решения. Но, видно, вам ни до чего нет дела. Вы ни о ком не подумали. Отмахнулись от тех, кто в разлуке.

Риэ согласился, в каком-то смысле Рамбер прав, он действительно отмахнулся.

– Знаю, знаю, – воскликнул Рамбер, – сейчас вы заговорите об общественной пользе! Но ведь общественное благо как раз и есть счастье каждого отдельного человека.

– Ну, знаете, – отозвался доктор не так рассеянно, как прежде, – счастье счастьем, но существует и нечто другое. Никогда не следует судить с налета. И зря вы сердитесь. Если вам удастся выпутаться из этой истории, я буду от души рад. Просто существуют вещи, которые мне запрещено делать по характеру моей работы.

Журналист нетерпеливо мотнул головой:

– Вы правы, зря я сержусь. Да еще отнял у вас уйму времени.

Риэ попросил Рамбера держать его в курсе своих дел и не таить против него зла. Очевидно, у Рамбера имеется план действий, и, пожалуй, в каком-то смысле они могут сойтись. Рамбер растерянно взглянул на врача.

– Я тоже в это верю, – сказал он, помолчав, – верю вопреки самому себе, вопреки тому, что вы здесь мне наговорили. – Он запнулся. – Но все равно я не могу одобрить ваши действия.

Он нахлобучил шляпу на лоб и быстро пошел прочь. Риэ проследил за ним взглядом и увидел, что журналист вошел в подъезд отеля, где жил Жан Тарру.

Доктор задумчиво покачал головой. Журналист был прав в своем нетерпеливом стремлении к счастью. Но вот когда он обвинял его, Риэ, был ли он и тогда прав? «Вы живете в мире абстракций». Уж не были ли миром абстракций дни, проведенные в лазарете, где чума с удвоенной алчностью заглатывала свои жертвы, унося за неделю в среднем по пятьсот чело-

век? Да, несомненно, в бедствии была своя доля абстракции, было в нем и что-то нереальное. Но когда абстракция норовит вас убить, приходится заняться этой абстракцией. И Риэ знал только одно – не так-то это легко. Не так-то легко, к примеру, руководить подсобным лазаретом (теперь их насчитывалось уже три), ответственность за который возложили на него. В комнатке, примыкавшей к врачебному кабинету, устроили приемный покой. В полу сделали углубление, где стояло целое озерцо крезолы, а посередине выложили из кирпичей нечто вроде островка. Больного укладывали сначала на этот островок, затем быстро раздевали донага, и одежда падала в раствор крезолы. И только потом, когда больного обмывали с ног до головы, насухо вытирали и одевали в шершавую больничную рубашку, он переходил в руки Риэ, а после его направляли в одну из палат. Пришлось использовать внутренние школьные крытые дворики, так как в лазарете число коек доходило уже до пятисот и почти все они были заняты. После утреннего обхода, который проводил сам Риэ, когда всем больным вводили вакцину, вскрывали бубоны, доктор еще просматривал бумаги, содержащие статистические данные, а после обеда снова начинался обход. Наконец, вечерами он ездил с визитами к своим пациентам и возвращался домой только поздно ночью... Как раз накануне мать, вручая Риэ телеграмму от жены, заметила, что руки у него трясутся.

– Да, – согласился он, – трясутся. Но это нервное, я за собой посижу.

Натура у него была могучая, стойкая. Он и на самом деле пока еще не успел устать. Но ездить по визитам ему было нелегко. Ставить диагноз «заразная лихорадка» означало немедленную изоляцию больного. Вот тут-то и впрямь начинались трудности, тут начинался мир абстракций, так как семья больного отлично знала, что увидит его или выздоровевшим, или в гробу. «Пожалейте нас, доктор», – твердила мадам Лоре, мать горничной, работавшей в том отеле, где жил Тарру. Но что значит жалеть? Ясно, он жалел. Но это ничего не меняло. Приходилось звонить. Через несколько минут раздавалась сирена машины «скорой помощи». Вначале соседи распахивали окна и выглядывали на улицу. А со временем, наоборот, стали спешно закрывать все ставни. И вот тогда-то, в сущности, и начинались борьба, слезы, уговоры, в общем, абстракция. В комнатах, где, казалось, сам воздух пылал от лихорадки и страха, разыгрывались сцены, граничившие с безумием. Но больного все равно увозили. Риэ мог отправляться домой.

В первые дни эпидемии он ограничивался звонком по телефону и спешил к следующему больному, не дожидаясь кареты «скорой помощи». Но после его ухода родные наглухо запирали двери, они предпочитали оставаться лицом к лицу с заразой, лишь бы не выпускать из дому больного, так как знали, чем все это кончается. Крики, приказания, вмешательство полиции, а потом и военных – словом, больного брали приступом. В первые недели приходилось сидеть и ждать, пока не приедет «скорая». А потом, когда с врачом стал приезжать санитарный инспектор, которых вербовали из добровольцев, Риэ мог сразу бежать от одного больного к другому. Но тогда, в самом начале, все вечера, проведенные у больного в ожидании «скорой», походили на тот вечер, когда он явился к мадам Лоре в ее квартирку, щедро украшенную бумажными веерами и букетиками искусственных цветов, и мать, встретив его на пороге, проговорила с вымученной улыбкой:

– Надеюсь, у нее не та лихорадка, о которой все говорят?

А он, подняв простыни и подол ночной рубашки, молча смотрел на багровые пятна, покрывавшие живот и пах, на набрякшие железы. Мать тоже взглянула на обнаженный пах дочери и, не сдержавшись, крикнула во весь голос. Каждый вечер точно так же вопили матери, бессмысленно уставившись на обнаженный живот своего ребенка, уже отмеченный багровыми пятнами смерти; каждый вечер чьи-нибудь руки судорожно цеплялись за руки Риэ, слезы сменялись бесплодными мольбами и клятвами, каждый вечер на сирену «скорой помощи» отвечали истерические рыдания, столь же бесполезные, как сама боль. И к концу этой бесконечной череды вечеров, неотличимо похожих друг на друга, Риэ понял, что его

ждет все та же череда одинаковых сцен, повторявшихся вновь и вновь, и ни на что другое уже не надеялся. Да, чума как абстракция оказалась более чем монотонной. Изменилось, пожалуй, лишь одно – сам Риэ. Он осознал это у статуи Республики, в тот вечер, когда глядел на двери отеля, поглотившие Рамбера, только одно ощутил он: его постепенно захватывает свинцовое безразличие.

К концу этих изнуряющих недель, когда все в тех же сумерках весь город выплескивался наружу и бессмысленно кружил по улицам, Риэ вдруг отдал себе отчет, что ему не требуется больше защищаться от жалости. Очень уж утомительна жалость, когда жалость бесполезна... И, поняв, как постепенно замыкается в самом себе его сердце, доктор впервые ощутил облегчение, единственное за эти навалившиеся на него, как бремя, недели. Он знал, что отныне его задача станет легче. Вот почему он и радовался. Когда мать доктора, встречая его в два часа ночи и ловя его пустой взгляд, огорчалась, она как раз и сожалела о том, что сын ее лишается единственного отпущенного ему утешения. Чтобы бороться с абстракцией, надо хоть отчасти быть ей сродни. Но как мог это почувствовать Рамбер? Абстракция в глазах Рамбера – это все то, что препятствует его счастью. И, положив руку на сердце, Риэ признавал, что в известном смысле журналист прав. Но он знал также, что бывают случаи, когда абстракция сильнее человеческого счастья, и тогда нужно отдавать себе в этом отчет. Только тогда. Вероятно, это и произошло с Рамбером, и доктор понял это много позднее из отдельных признаний журналиста. Он мог, таким образом, следить с новой позиции за мрачной битвой между счастьем каждого отдельного человека и абстракциями чумы, – битвой, которая составляла весь смысл жизни нашего города в течение долгого времени.

Но там, где одни видели абстракцию, другие видели истину. Конец первого месяца чумы был и впрямь омрачен новым явным ростом эпидемии и пылкой проповедью отца Панлю, иезуита, того, который помог добраться до дому заболевшему старику Мишелю. Отец Панлю был уже достаточно известен благодаря постоянному сотрудничеству в «Оранском географическом бюллетене», где он завоевал немалый авторитет трудами по расшифровке древних надписей. Но еще более широкую аудиторию он приобрел не как специалист-ученый, а как лектор, прочитавший серию докладов о современном индивидуализме. В своих лекциях он выступал в качестве пламенного поборника непримиримого христианства, равно далекого и от новейшего попустительства, и от обскурантизма минувших веков. По этому случаю он не скупился высказывать аудитории самые жесткие истины. Отсюда-то и пошла его репутация.

К концу первого месяца церковные власти города решили бороться против чумы собственными методами, объявив наступающую неделю недель общих молений. Эти публичные манифестации благочестия должны были завершиться в воскресенье торжественной мессой в честь святого Роха, заступника зачумленных, ибо его также поразила чума. По этому случаю обратились к отцу Панлю с просьбой прочитать проповедь. На целые две недели этот последний оторвался от своих трудов, посвященных святому Августину и африканской церкви, снискавших ему почетное место в их иезуитском ордене. Будучи натурой пламенной и страстной, он сразу согласился принять возложенную на него миссию. Еще задолго до того, как проповедь была произнесена, о ней много говорили в городе, и в известном смысле она тоже стала значительной вехой в истории этого периода.

Неделя молений собрала много народу. И вовсе не потому, что в обычное время наши оранцы отличались особой религиозностью. Воскресными утрами, например, морские пляжи являлись серьезными конкурентами церковным службам. И вовсе не потому, что наши сограждане во внезапном озарении обратились к Богу. Но раз город был объявлен закрытым и вход в порт воспрещен, морские купания, естественно, отпадали – это с одной стороны, а с другой – оранцы находились в несколько необычном умонастроении, они не принимали душой свалившиеся на них неожиданные события, и все же они смутно ощу-

щали, что многое изменилось. Правда, кое-кто все еще надеялся, что эпидемия пойдет на спад и пощадит их самих и их близких. А следовательно, они пока еще считали, что никому ничем не обязаны. Чума в их глазах была не более чем непрошеной гостьей, которая как пришла, так и уйдет прочь. Они были напуганы, но не отчаялись, поскольку еще не наступил момент, когда чума предстанет перед ними как форма их собственного существования и когда они забудут ту жизнь, что вели до эпидемии. Короче, они находились в ожидании. Чума довольно-таки причудливым образом изменила их обычные взгляды на религию, как, впрочем, и на множество иных проблем, и это новое умонастроение было равно далеко и от безразличия, и от страстей и лучше всего определялось словом «объективность». Большинство участвовавших в неделе молений могли бы с полным основанием подписаться под словами, сказанными одним из верующих доктору Риз: «Во всяком случае, вреда от этого не будет». Сам Тарру записал в своем дневнике, что китайцы в аналогичных случаях бьют в барабаны, надеясь умиловить духа чумы, и заметил, что абсолютно невозможно доказать, действительно ли барабан эффективнее профилактических мер. Он добавлял, что решить этот вопрос можно было бы, лишь располагая данными о существовании духа чумы, и что наше невежество в этой области сводит на нет все имеющиеся на сей счет мнения.

Так или иначе, наш кафедральный собор в течение недели почти всегда был заполнен молящимися. В первые дни многие из наших сограждан предпочитали толпиться у ворот собора под сенью пальм и гранатовых деревьев, куда волнами докатывались церковные песнопения и молитвы – отголоски их слышны были даже на улице. Но чужой пример заразителен, и мало-помалу те же самые слушатели входили, набравшись смелости, в собор и присоединяли свой робкий голос к общему хору голосов. А в воскресенье огромная толпа затопила весь неф, заняла всю паперть, даже на ступеньках лестницы стояли люди. Накануне, в субботу, небо начало хмуриться, разразился ливень. Не попавшие в храм открыли зонтики. Когда на кафедре поднялся отец Панлю, в храме реял аромат ладана и запах волглого шелка.

Отец Панлю был невысок ростом, но коренаст. Когда он ухватился крупными руками за край кафедры, молящимся было видно лишь что-то черное и широкое, а выше два красных пятна его щек, а еще над ними – очки в металлической оправе. Голос у него был сильный, страстный, разносившийся далеко; и когда святой отец обрушил на собравшихся свою первую фразу, пылкую и чеканную: «Братья мои, вас постигла беда, и вы ее заслужили, братья», по храму прошло движение, докатившееся до паперти.

Последующие фразы логически не особенно-то вязались с пафосом этой посылки. Только к середине речи наши сограждане уразумели, что преподобный отец ловким ораторским приемом вложил в первую фразу основной тезис своей проповеди, словно плетью ударил. Сразу же вслед за посылкой отец Панлю и впрямь привел стих из Исхода о египетской чуме и добавил: «Вот когда впервые в истории появился бич сей, дабы сразить врагов Божьих. Фараон противился замыслам Предвечного, и чума вынудила его преклонить колена. С самого начала истории человечества бич Божий смирял жестоковых и слепцов. Поразмыслите над этим хорошенько и преклоните колена».

Дождь снова припустил, и последняя фраза проповеди, произнесенная среди всеобщего молчания, подчеркнутого нудным стуком капель по витражам, прозвучала с такой силой, что кое-кто из молящихся после секундного колебания соскользнул со стула и преклонил колена на скамеечке. Остальные решили, что нужно последовать этому примеру, и мало-помалу в полном безмолвии, нарушаемом лишь скрипом стульев, вся аудитория опустилась на колени. Тут отец Панлю выпрямил свой стан, судорожно перевел дыхание и заговорил, выделяя голосом каждое слово: «Ежели чума ныне коснулась вас, значит, пришло время задуматься. Праведным нечего бояться, но нечестивые справедливо трепещут от страха. В необозримой житнице вселенной неумолимый бич будет до той поры молотить зерно чело-

веческое, пока не отделит его от плевел. И мы увидим больше плевел, чем зерна, больше званых, чем избранных, и не Бог возжелал этого зла. Долго, слишком долго мы мирились со злом, долго, слишком долго уповали на милосердие Божье. Достаточно было покаяться во грехах своих, и все становилось нам дозволенным. И каждый смело каялся в прегрешениях своих. Но настанет час – и спросится с него. А пока легче всего жить как живется, с помощью милосердия Божьего, мол, все уладится. Так вот, дальше так продолжаться не могло. Господь Бог, так долго склонявшийся над жителями города свой милосердный лик, отвратил ныне от него взгляд свой, обманутый в извечных своих чаяниях, устав от бесплодных ожиданий. И, лишившись света Господня, мы очутились, и надолго, во мраке чумы!»

Кто-то из слушателей издал странный звук, похожий на лошадиное фырканье. Помолчав немного, преподобный отец снова заговорил, но тоном ниже: «В «Золотой легенде» мы читали, что во времена короля Умберто Ломбардского Италия была опустошена чумой столь свирепой, что живые не успевали хоронить мертвецов своих, особенно же чума свирепствовала в Риме и Павии. И на глазах у всех явился добрый ангел и повелел злему ангелу, державшему в деснице охотничье копьё, разить дома; и каждый раз, когда копьё вонзалось в дом, любой, кто выходил из него, падал мертвым».

Здесь отец Панлю простер свои коротенькие руки к паперти, словно там, за трепетной завесой дождя, притаилось что-то. «Братья мои! – возгласил он с силой. – Эта смертоносная охота идет ныне на наших улицах. Смотрите, смотрите, вот он, ангел чумы, прекрасный, как Люцифер, и сверкающий, как само зло, вот он, грозно встающий над вашими кровлями, вот заносит десницу с окровавленным копьём над главою своею, а левой рукой указывает на дома ваши. Быть может, как раз сейчас он простер перст к вашей двери, и копьё с треском вонзается в дерево, и еще через миг чума входит к вам, усаживается в комнате вашей и ждет вашего возвращения. Она там, терпеливая и зоркая, неотвратимая, как сам порядок мироздания. И руку, что она протянет к вам, ни одна сила земная, ни даже – запомните это хорошенько! – суетные человеческие знания не отведут от вас. И поверженные на обгаренное кровью гумно страданий, вы будете отброшены вместе с плевелами».

Здесь преподобный отец, не жалея красок, нарисовал ужаснувшую всех картину бича Божьего. По его словам, огромное деревянное копьё кружит над городом, бьет вслепую и вновь, окровавленное, вздымается вверх, разбрызгивая кровь и болезни людские, «и из такого посева взрастет урожай истины».

Закончив этот длинный период, отец Панлю замолк, волосы упали ему на лоб, все тело сотрясилось, и дрожь сообщилась даже кафедре, в которую он вцепился обеими руками; потом он заговорил глуше, но все тем же обличительным тоном: «Да, пришел час размышлений. Вы полагали, что достаточно один раз в неделю, в воскресенье, зайти в храм Божий, дабы в остальные шесть дней у вас были развязаны руки. Вы полагали, что, преклонив десяток раз колена, вы искупите вашу преступную беспечность. Но Бог, он не тепел. Эти редкие обращения к небу не могут удовлетворить его ненасытную любовь. Ему хочется видеть вас постоянно, таково выражение его любви к вам, и, по правде говоря, единственное ее выражение. Вот почему, уставши ждать ваших посещений, он дозволил бичу обрушиться на вас, как обрушивался он на все погрязшие во грехах города с тех пор, как ведет свою историю род человеческий. Теперь вы знаете, что такое грех, как знали это Каин и его сыновья, как знали это до потопа, как знали жители Содомы и Гоморры, как знали фараон и Иов, как знали все, кого проклял Бог. И, подобно всем им, вы с того самого дня, как город замкнул в свое кольцо и вас, и бич Божий, вы иным оком видите все живое и сущее. Вы знаете теперь, что пора подумать о главном».

Влажный ветер ворвался под своды собора и пригнул потрескивавшие огоньки свечей. Вязкий запах воска, смешанный с дыханием кашлявших, чихавших людей, подступил к кафедре, и отец Панлю, вновь вернувшись к своей посылке, с ловкостью, высоко оцененной

слушающими, заговорил спокойным голосом: «Знаю, многие из вас спрашивают себя, к чему я, в сущности, веду. Я хочу привести вас к истине и научить вас радоваться вопреки всему, что я здесь сказал. Ныне уже не те времена, когда человека ведут к добру благие советы и рука брата. Ныне указывает истина. И путь к спасению указывает вам также багровое копье, и оно же подталкивает вас к Богу. Вот в этом-то, братья мои, проявляет себя небесное милосердие, вложившее во все сущее и добро, и зло, и гнев, и жалость, и чуму и спасение. Тот самый бич, что жестоко разит вас, возносит каждого и указывает ему путь... Еще в давние времена абиссинцы христианского вероисповедания видели в чуме вернейшее средство войти в Царство Небесное и приписывали ей Божественное происхождение. Тот, кого пощадил недуг, укутывался в полотнища, которыми укрывали зачумленных, дабы наверняка умереть той же смертью. Разумеется, столь яростное стремление к спасению души мы рекомендовать не можем. Тут проявляет себя прискорбное поспешательство, граничащее с гордыней. Не следует опережать Господа своего и тщиться ускорить ход незыблемого порядка, установленного Творцом раз и навсегда. Это прямым путем ведет к ереси. Но так или иначе, пример сей поучителен. Самым пронизательным умам он показывает лучезарный свет вечности в недрах любого страдания. Он, этот свет, озаряет сумеречные дороги, ведущие к освобождению... Он, этот свет, есть проявление Божественной воли, которая без устали претворяет зло в добро. Даже ныне он, этот свет, ведет нас путем смерти, страха и кликов ужаса к последнему безмолвию и к высшему принципу всей нашей жизни. Вот, братья, то несказанное утешение, которое мне хотелось бы вам дать, и пусть то, что вы слышали здесь, будет не просто карающими словами, но несущим умиротворение глаголом».

По всему чувствовалось, что проповедь отца Панлю подходит к концу. Дождь прекратился. С неба сквозь влажную дымку лился на площадь новорожденный свет. С улицы долетал гул голосов, шуршание автомобильных шин – обычный язык пробуждающегося города. Стараясь не производить шума, слушатели потихоньку стали собираться, в храме началась тихая возня. Однако преподобный отец снова заговорил, он заявил, что, доказав Божественное происхождение чумы и карающую миссию бича Божьего, он больше не вернется к этой теме и, заканчивая свое слово, поостережется прибегать к красотам красноречия, что было бы неуместно, коль скоро речь идет о событиях столь трагических. По его мнению, всем и так все должно быть ясно. Он хочет лишь напомнить слушателям, что летописец Матье Марэ, описывая великую чуму, обрушившуюся на Марсель, жаловался, что живет он в аду, без помощи и надежды. Ну что ж, Матье Марэ был жалкий слепец! Наоборот, отец Панлю решится утверждать, что именно сейчас каждому человеку дана Божественная подмога и извечная надежда христианина. Он надеется вопреки всем надеждам, вопреки ужасу этих дней и крикам умирающих, он надеется, что сограждане наши обратят к Небесам то единственное слово, слово христианина, которое и есть сама любовь. А Господь довершит остальное.

Трудно сказать, произвела ли эта проповедь впечатление на наших сограждан. Например, мсье Отон, следовательно, заявил доктору Риэ, что, на его взгляд, основной тезис отца Панлю «абсолютно неопровержим». Однако не все оранцы придерживались столь категорического мнения. Проще говоря, после проповеди они острее почувствовали то, что до сего дня виделось им как-то смутно, – что они осуждены за неведомое преступление на заточение, которое и представить себе невозможно. И если одни продолжали свое скромное существование, старались приспособиться к заключению, то другие, напротив, думали лишь о том, как бы вырваться из этой тюрьмы.

Поначалу люди безропотно примирились с тем, что отрезаны от внешнего мира, как примирились бы они с любой временной неприятностью, угрожавшей лишь кое-каким их привычкам. Но когда они вдруг осознали, что попали в темницу, когда над головой, как

крышка, круглилось летнее небо, коробившееся от зноя, они стали смутно догадываться, что заключение угрожает всей их жизни, и вечерами, когда спускавшаяся прохлада подстегивала их энергию, они совершали порой самые безрассудные поступки.

Сначала – трудно сказать, было ли то простым совпадением, но только после этого вышеупомянутого воскресенья в нашем городе поселился страх; и по глубине его, и по охвату стало ясно, что наши сограждане действительно начали отдавать себе отчет в своем положении. Так что с известной точки зрения атмосфера в нашем городе чуть изменилась. Но вот в чем вопрос – произошли ли эти изменения в атмосфере самого города или в человеческих сердцах?

Через несколько дней после воскресной проповеди доктор Риэ вместе с Граном отправились на окраину города, обсуждая достославное событие, как вдруг путь им преградил какой-то человек: он неуклюже топтался перед ними, но почему-то не двигался с места. Как раз в эту минуту вспыхнули уличные фонари, теперь их зажигали все позже и позже. Свет фонаря, подвешенного к высокой мачте, стоявшей у них за спиной, вдруг осветил этого человека, и они увидели, что незнакомец беззвучно хохочет, плотно зажмурив глаза. По его бледному, искаженному ухмылкой безмолвного веселья лицу крупными каплями катился пот. Они прошли мимо.

– Сумасшедший, – проговорил Гран.

Риэ, взявший своего спутника под руку, чтобы поскорее увести его подальше от этого зрелища, почувствовал, как тело Грана бьет нервическая дрожь.

– Скоро у нас в городе все будут сумасшедшие, – заметил Риэ.

Горло у него пересохло, очевидно, сказывалась многодневная усталость.

– Зайдем выпьем чего-нибудь.

В тесном кафе, куда они зашли, освещенном единственной лампой, горящей над стойкой и разливавшей густо-багровый свет, посетители почему-то говорили вполголоса, хотя, казалось бы, для этого не было никаких причин. Гран, к великому изумлению доктора, заказал себе стакан рому, выпил одним духом и заявил, что это здорово крепко. Потом направился к выходу. Когда они очутились на улице, Риэ почудилось, будто ночной мрак густо пронизан стенаниями. Глухой свист, шедший с черного неба и выющийся где-то над фонарями, невольно напомнил ему невидимый бич Божий, неумоимо рассекавший теплый воздух.

– Какое счастье, какое счастье, – твердил Гран.

Риэ старался понять, что, собственно, он имеет в виду.

– Какое счастье, – сказал Гран, – что у меня есть моя работа.

– Да, – подтвердил Риэ, – это действительно огромное преимущество.

И, желая заглушить этот посвист, он спросил Грана, доволен ли тот своей работой.

– Да как вам сказать, думается, я на верном пути.

– А долго вам еще трудиться?

Гран воодушевился, голос его зазвучал громче, словно согретый парами алкоголя.

– Не знаю, но вопрос в другом, доктор, да-да, совсем в другом.

Даже в темноте Риэ догадался, что его собеседник размахивает руками. Казалось, он готовит про себя речь, и она и впрямь вдруг вырвалась наружу и полилась без запинок:

– Видите ли, доктор, чего я хочу – я хочу, чтобы в тот день, когда моя рукопись попадет в руки издателя, издатель, прочитав ее, поднялся бы с места и сказал своим сотрудникам: «Господа, шапки долой!»

Это неожиданное заявление удивило Риэ. Ему почудилось даже, будто Гран поднес руку к голове жестом человека, снимающего шляпу, а потом выкинул руку вперед. Там наверху, в небе, с новой силой зазвенел странный свист.

– Да, – проговорил Гран, – я обязан добиться совершенства.

При всей своей неискушенности в литературных делах Ризэ, однако, подумал, что, очевидно, все происходит не так просто и что, к примеру, вряд ли издательские работники сидят в своих кабинетах в шляпах. Но кто его знает – и Ризэ предпочел промолчать. Вопреки воле он прислушивался к таинственному рокоту чумы. Они подошли к кварталу, где жил Гран, и, так как дорога слегка поднималась вверх, на них повеяло свежим ветерком, унесшим одновременно все шумы города. Гран все продолжал говорить, но Ризэ улавливал только половину его слов. Он понял лишь, что произведение, о котором идет речь, уже насчитывает сотни страниц и что самое мучительное для автора – это добиться совершенства...

– Целые вечера, целые недели бьешься над одним каким-нибудь словом... а то и просто над согласованием.

Тут Гран остановился и схватил доктора за пуговицу пальто. Из его почти беззубого рта слова вырывались с трудом.

– Поймите меня, доктор. На худой конец не так уж сложно сделать выбор между «и» и «но». Уже много труднее отдать предпочтение «и» или «потом». Трудности возрастают, когда речь идет о «потом» и «затем». Но конечно, самое трудное определить, надо ли вообще ставить «и» или не надо.

– Да, – сказал Ризэ, – понимаю.

Он снова зашагал вперед. Гран явно сконфузился и догнал доктора.

– Простите меня, – пробормотал он. – Сам не знаю, что это со мной нынче вечером.

Ризэ ласково похлопал его по плечу и сказал, что он очень хотел бы ему помочь, да и все, что он рассказывал, его чрезвычайно заинтересовало. Гран, по-видимому, успокоился, и, когда они дошли до подъезда, он, поколебавшись, предложил доктору подняться к нему на минуточку. Ризэ согласился.

Гран усадил гостя в столовой у стола, заваленного бумагами, каждый листок был сплошь покрыт микроскопическими буквами, чернел от помарок.

– Да, она самая, – сказал Гран, поймав вопросительный взгляд Ризэ. – Может, выпьете чего-нибудь? У меня есть немного вина.

Ризэ отказался. Он глядел на листки рукописи.

– Да не глядите так, – попросил Гран. – Это только первая фраза. Ну и повозился же я с ней, ох и повозился.

Он тоже уставился на разбросанные по столу листки, и рука его, повинувшись неодолимому порыву, сама потянулась к странице, поднесла ее поближе к электрической лампочке без абажура. Листок дрожал в его руке. Ризэ заметил, что на лбу Грана выступили капли пота.

– Садитесь, – сказал он, – и почитайте.

Гран вскинул на доктора глаза и благодарно улыбнулся.

– Верно, – сказал он, – мне и самому хочется вам почитать.

Он подождал с минуту, не отрывая взгляда от страницы, потом сел. А Ризэ вслушивался в невнятное бормотание города, которое как бы служило аккомпанементом к свисту бича. Именно в этот миг он необычайно остро ощутил весь город, лежавший внизу, превратившийся в наглухо замкнутый мирок, раздираемый страшными воплями, которые поглощал ночной мрак. А рядом глухо бубнил Гран: «Прекрасным утром мая элегантная амазонка на великолепном гнедом коне скакала по цветущим аллеям Булонского леса...» Затем снова наступила тишина и принесла с собой невнятный гул города-мученика. Гран положил листок, но глаз от него не отвел. Через минуту он посмотрел на Ризэ:

– Ну как?

Ризэ ответил, что начало показалось ему занимательным и интересно было бы узнать, что будет дальше. На это Гран горячо возразил, что такая точка зрения неправомерна. И даже прихлопнул листок ладонью.

– Пока что все это еще очень приблизительно. Когда мне удастся непогрешимо точно воссоздать картину, живущую в моем воображении, когда у моей фразы будет тот же аллюр, что у этой четкой рыси – раз-два-три, раз-два-три, – все остальное пойдет легче, а главное, иллюзия с первой же строчки достигнет такой силы, что смело можно будет сказать: «Шапки долой!»

Но пока что работы у него непочатый край. Ни за какие блага мира он не согласится отдать вот такую фразу в руки издателя. Хотя временами эта фраза и дает ему чувство авторского удовлетворения, он отлично понимает, что пока еще она полностью не передает реальной картины, написана как-то слишком легковесно и это, пусть отдаленно, все-таки роднит ее со штампом. Примерно таков был смысл его речей, когда за окном вдруг раздался топот ног бегущих людей. Риэ поднялся.

– Вот увидите, как я ее поверну, – сказал Гран и, оглянувшись на окно, добавил: – Когда все это будет кончено...

Тут снова слышались торопливые шаги. Риэ поспешно спустился на улицу, и мимо прошли два человека. Очевидно, они направлялись к городским воротам. И действительно, кое-кто из наших сограждан, потеряв голову от зноя и чумы, решил действовать силой и, попытавшись обмануть бдительность кордона, выбраться из города.

Другие, как, скажем, Рамбер, тоже пытались вырваться из атмосферы нарождающейся паники, но действовали если не более успешно, то упорнее и хитрее. Для начала Рамбер проделал все официальные демарши. По его словам, он всегда считал, что настойчивость рано или поздно восторжествует, да и с известной точки зрения умение выпутываться из любых положений входило в его профессию. Поэтому он посетил множество канцелярий и людей, чья компетенция обычно не подлежала сомнению. Но в данном случае вся их компетенция оказалась ни к чему. Как правило, это были люди, обладавшие вполне точными и упорядоченными представлениями обо всем, что касалось банковских операций, или экспорта, или citrusовых, или виноторговли, люди, имевшие неоспоримые знания в области судебных разбирательств или страхования, не говоря уже о солидных дипломах и немалом запасе доброй воли. Как раз и поражало в них наличие доброй воли. Но во всем касающемся чумы их знания сводились к нулю.

И тем не менее Рамбер каждый раз излагал каждому из них свое дело. Его аргументы в основном сводились к тому, что он, мол, чужой в нашем городе и поэтому его случай требует особого рассмотрения. Как правило, собеседники охотно соглашались с этим доводом. Но почти все давали ему понять, что в таком точно положении находится немало людей и поэтому случай его не такой уж исключительный, как ему кажется. На что Рамбер возражал, что если даже так, суть его доводов от этого не меняется, а ему отвечали, что все-таки меняется, так как власти чинят в таких случаях препятствия, боятся любых поблажек, не желая создать так называемый прецедент, причем последнее слово произносилось с нескрываемым отвращением. Рамбер как-то сообщил доктору Риэ, что таких субъектов по созданной им классификации он заносит в графу «бюрократы». А кроме бюрократов, попадались еще и краснобаи, уверявшие просителя, что все это долго не протянется, а когда от них требовали конкретного решения, не скупившись на добрые советы, даже пытались утешать Рамбера, твердя, что все это лишь скоропреходящие неприятности. Попадались также сановитые, эти требовали, чтобы проситель подал им бумагу с изложением просьбы, а они известят его о своем решении; попадались пустозвоны, предлагавшие ему ордер на квартиру или сообщавшие адрес недорогого пансиона; попадались педанты, требовавшие заполнить по всей форме карточку и тут же приобщавшие ее к делу; встречались неврастеники, вздымавшие к небу руки; встречались несговорчивые, отводившие глаза; и наконец, и таких было большинство, встречались формалисты, отсылавшие по привычке Рамбера в соседнюю канцелярию или подсказывавшие какой-нибудь новый ход.

Журналист издергался от всех этих хождений, зато сумел составить себе достаточно ясное представление, что такое мэрия или префектура, еще и потому, что вынужден был сидеть часами в ожидании на обитой молескином скамейке напротив огромных плакатов – одни призывали подписываться на государственный заем, не облагаемый налогами, другие – вступить в колониальные войска; а потом еще топтался в самих канцеляриях, где на лицах служащих можно прочесть не больше, чем на скоросшивателях и полках с папками. Правда, было тут одно преимущество, как признался не без горечи Рамбер доктору Риэ: все эти хлопоты заслонили от него истинное положение дел. Фактически он даже не заметил, что эпидемия растет. Не говоря уже о том, что дни в этой бесполезной беготне проходили быстрее, а ведь можно, пожалуй, считать, что в том положении, в котором находился весь город, каждый прошедший день приближает каждого человека к концу его испытаний, если, понятно, он до этого доживет. Риэ вынужден был признать, что такая точка зрения не лишена логики, но заключенная в ней истина, пожалуй, чересчур обща.

Наконец наступила минута, когда для Рамбера забрезжила надежда. Из префектуры он получил анкету с просьбой заполнить ее как можно точнее. Пославших анкету интересовало: его точные имя и фамилия, его семейное положение, его доходы прежние и настоящие, словом, то, что принято называть *сиггiculum vitae*¹. В первые минуты ему показалось, будто эту анкету разослали специально тем лицам, которых можно отправить к месту их обычного жительства. Кое-какие сведения, полученные в канцелярии, правда, довольно туманные, подтвердили это впечатление. Но после решительных шагов Рамберу удалось обнаружить отдел, рассылающий анкеты, и там ему сообщили, что сведения собирают «на случай».

– Какой случай? – спросил Рамбер.

Тогда ему объяснили, что на тот случай, если он заразится чумой и умрет, и тогда, с одной стороны, отдел сможет сообщить об этом прискорбном факте его родным, а с другой – установить, будет ли оплачиваться содержание его, Рамбера, в лазарете из городского бюджета, или же можно будет надеяться, что родные покойного покроют эту сумму. Конечно, это доказывало, что он не окончательно разлучен с той, что ждет его, – раз их судьбой занимается общество. Но утешение было довольно жалкое. Более примечательно то – и Рамбер не преминул это заметить, – что в самый разгар сурового бедствия некая канцелярия хладнокровно занималась своим делом, проявляла инициативу в дочумном стиле, подчас даже не ставя в известность начальство, и делала это лишь потому, что была специально создана для подобной работы.

Последующий период оказался для Рамбера и самым легким, и одновременно самым тяжелым. Это был период оцепенения. Журналист уже побывал во всех канцеляриях, предпринял все необходимые шаги и понял, что с этой стороны, по крайней мере на данное время, выход надежно забаррикадирован. Тогда он стал бродить из кафе в кафе. Утром усаживался на террасе кафе перед кружкой тепловатого пива и листал газеты в надежде обнаружить в них хоть какой-то намек на близкий конец эпидемии, разглядывал прохожих, с неприязнью отворачивался от их невеселых лиц и, прочитав десятки, сотни раз вывески расположенных напротив магазинов, а также рекламу знаменитых аперитивов, которые уже не подавали, поднимался с места и шел по желтым улицам города куда глаза глядят. Так и проходило время до вечера, от одинокого утреннего сидения в кафе до ужина в ресторане. Именно вечером Риэ заметил Рамбера, стоявшего в нерешительной позе у дверей кафе. Наконец он, видимо, преодолев колебания, вошел и сел в дальнем углу зала. Близился тот час – по распоряжению свыше он с каждым днем наступал все позже и позже, – когда в кафе и ресторанах дают свет. Зал заволакивали сумерки, водянистые, мутно-серые, розоватость закатного неба отражалась в оконных стеклах, и в сгущающейся темноте слабо поблескивал мрамор столиков.

¹ Жизнеописание (лат.).

Здесь, среди пустынной залы, Рамбер казался заблудшей тенью, и Риэ подумалось, что для журналиста это час отрешенности. Но и все прочие пленники зачумленного города проходили так же, как и он, свой час отрешенности, и надо было что-то делать, чтобы поторопить минуту освобождения. Риэ отвернулся.

Целые часы Рамбер проводил также и на вокзале. Выход на перрон был запрещен. Но в зал ожидания, куда попадали с площади, дверей не запирали, и иногда в знойные дни там укрывались нищие – в залах было свежо, как в тени. Рамбер приходил на вокзал читать старые расписания поездов, объявления, запрещающие плевать на пол, и распорядок работы железнодорожной полиции. Потом он садился в уголок. В зале было полутемно. Бока старой чугунной печки, не топленной уже многие месяцы, были все в разводах от поливки дезинфицирующими средствами. Со стены десяток плакатов вещал о счастливой и свободной жизни где-нибудь в Бандоле или Каннах. Здесь на Рамбера накатывало ощущение пугающей свободы, которое возникает, когда доходишь до последней черты. Из всех зрительных воспоминаний самыми мучительными были для него картины Парижа, так по крайней мере он уверял доктора Риэ. Париж становился его наваждением, и знакомые пейзажи – вода и старые камни, голуби на Пале-Рояль, Северный вокзал, пустынные кварталы вокруг Пантеона и еще кое-какие парижские уголки – убивали всякое желание действовать, а ведь раньше Рамбер даже не подозревал, что любит их до боли. Риэ подумал только, что журналист просто отождествляет эти образы со своей любовью. И когда Рамбер сказал ему как-то, что любит просыпаться в четыре часа утра и думать о своем родном городе, доктор без труда сопоставил эти слова со своим сокровенным опытом – ему тоже приятно было представлять себе как раз в эти часы свою уехавшую жену. Именно в этот час ему удавалось ощутить ее взаправду. До четырех часов утра человек, в сущности, ничего не делает и спит себе спокойно, если даже ночь эта была ночью измены. Да, человек спит в этот час, и очень хорошо, что спит, ибо единственное желание измученного тревогой сердца – безраздельно владеть тем, кого любишь, или, когда настал час разлуки, погрузить это существо в сон без сновидений, дабы продлился он до дня встречи.

Вскоре после проповеди наступил период жары. Подходил к концу июнь. На следующий день после запоздалых ливней, отметивших собой пресловутую проповедь, – лето вдруг расцвело в небе и над крышами домов. Приход его начался с горячего ураганного ветра, утихшего только к вечеру, но успевшего высушить все стены в городе. Солнце, казалось, застряло посередине неба. В течение всего дня зной и яркий свет заливали город. Едва человек покидал дом или выходил из-под уличных аркад, как сразу же начинало казаться, будто во всем городе не существует уголка, защищенного от этого ослепляющего излучения. Солнце преследовало наших сограждан даже в самых глухих закоулках, и стоило им остановиться хоть на минуту, как оно обрушивалось на них. Так как первые дни жары совпали со стремительным подъемом кривой смертности – теперь эпидемия уносила за неделю примерно семьсот жертв, – в городе воцарилось уныние. В предместьях, где на ровных улицах стоят дома с террасами, затихло обычное оживление, и квартал, где вся жизнь проходит у порога, замер; ставни были закрыты. Но никто не знал, что загнало людей в комнаты – чума или солнце. Однако из некоторых домов доносились стоны. Раньше, когда случалось нечто подобное, на улице собирались зеваки, прислушивались, судачили. Но теперь, когда тревога затянулась, сердца людей, казалось, очерствели, и каждый жил или шагал где-то в стороне от этих стонов, как будто они стали естественным языком человека.

Схватка у городских ворот, когда жандармам пришлось пустить в ход оружие, вызвала глухое волнение. Были, конечно, раненые, но в городе, где все и вся преувеличивалось под воздействием жары и страха, утверждали, что были и убитые. Во всяком случае, верно одно – недовольство не переставало расти, и, предвидя худшее, наши власти всерьез начали поду-

мывать о мерах, которые придется принять в том случае, если население города, смилившееся было под бичом, вдруг взбунтуется. Газеты печатали приказы, где вновь и вновь говорилось о категорическом запрещении покидать пределы города, нарушителям грозила тюрьма. Город прочесывали патрули. По пустынным, раскаленным зноем улицам, между двух рядов плотно закрытых ставен, то и дело проезжал конный патруль, предупреждавший о своем появлении звонким цоканьем копыт по мостовой. Патруль скрывался за углом, и глухая, настороженная тишина вновь окутывала бедствующий город. Временами раздавались выстрелы – это специальный отряд, согласно полученному недавно приказу, отстреливал бродячих собак и кошек, возможных переносчиков блох. Эти сухие хлопки окончательно погружали город в атмосферу военной тревоги.

Все приобретало несуразно огромное значение в испуганных душах наших сограждан, и виной тому были жара и безмолвие. Впервые наши сограждане стали замечать краски неба, запахи земли, возвещающие смену времен года. Каждый со страхом понимал, что зной будет способствовать развитию эпидемии, и в то же время каждый видел, что наступило лето. Крики стрижей в вечернем небе над городом становились особенно ломкими. Но июньские сумерки, раздвигавшие в наших краях горизонт, были куда шире этого крика. На рынки вывозили уже не первые весенние бутоны, а пышно распустившиеся цветы, и после утренней распродажи разноцветные лепестки густо устилали пыльные тротуары. Все видели воочию, что весна на исходе, что она расточила себя на эти тысячи и тысячи цветов, сменявших друг друга, как в хороводе, и что она уже чахнет под душившим ее исподволь двойным грузом – чумы и зноя. В глазах всех наших сограждан это по-летнему яркое небо, эти улицы, принявшие белесую окраску пыли и скуки, приобретали столь же угрожающий смысл, как сотни смертей, новым бременем ложившихся на плечи города. Безжалостное солнце, долгие часы с привкусом дремоты и летних вакаций уже не звали, как раньше, к празднествам воды и плоти. Напротив, в нашем закрытом притихшем городе они звучали глухо, как в подземелье. Часы эти утратили медный лоск загара счастливых летних месяцев. Солнце чумы приглушало все краски, гнало прочь все радости.

Вот в этом-то и сказался один из великих переворотов, произведенных чумой. Обычно наши сограждане весело приветствовали приход лета. Тогда город весь раскрывался навстречу морю и выплескивал все, что было в нем молодого, на пляжи. А нынешним летом море, лежавшее совсем рядом, было под запретом, и тело лишалось права на свою долю радости. Как жить в таких условиях? И опять-таки Тарру дал наиболее верную картину нашего существования в те печальные дни. Само собой разумеется, он следил лишь в общих чертах за развитием чумы и справедливо отметил в своей записной книжке как очередной этап эпидемии то обстоятельство, что радио отныне уже не сообщает, сколько сотен человек скончалось за неделю, а приводит данные всего за один день – девяносто два смертных случая, сто семь, сто двадцать. «Пресса и городские власти стараются перехитрить чуму. Воображают, будто выигрывают очко только потому, что сто тридцать, конечно, меньше, чем девятьсот десять». Запечатлел он также трогательные или просто эффектные аспекты эпидемии – рассказал о том, как шел по пустынному кварталу мимо наглухо закрытых ставен, как вдруг над самой его головой широко распахнулись обе створки окна и какая-то женщина, испустив два пронзительных крика, снова захлопнула ставни, отрезав густой мрак комнаты от дневного света. А в другом месте он записал, что из аптеки исчезли мятные лепешечки, потому что многие сосут их непрерывно, надеясь уберечься от возможной заразы.

Продолжал он также наблюдать за своими любимыми персонажами. В частности, убедился, что кошачий старичок тоже переживает трагедию. Как-то утром на их улице захлопали выстрелы, и, судя по записям Тарру, свинцовые плевки уложили на месте большинство кошек, а остальные в испуге разбежались. В тот же день старичок вышел в обычный час на балкон, недоуменно передернул плечами, перевесился через перила, зорко оглядел

всю улицу из конца в конец и, видимо, решил покориться судьбе и ждать. Пальцы его нервно выбивали дробь по металлическим перилам. Он еще подождал, побросал на тротуар бумажки, вошел в комнату, вышел снова, потом вдруг исчез, злобно хлопнув балконной дверью. В последующие дни сцена эта повторялась в точности, но теперь на лице старичка явно читались все более и более глубокие грусть и растерянность. А уже через неделю Тарру напрасно поджидал этого ежедневного появления, окна упорно оставались закрытыми, за ними, видимо, царила вполне объяснимая печаль. «Запрещается во время чумы плевать на котов» – таким афоризмом заканчивалась эта запись.

Зато Тарру, возвращаясь к себе по вечерам, мог быть уверен, что увидит в холле мрачную физиономию ночного сторожа, без устали шагавшего взад и вперед. Сторож напоминал всем и каждому, что он, мол, предвидел теперешние события. Когда же Тарру, подтвердив, что сам слышал это пророчество, позволил себе заметить, что предсказывал тот скорее землетрясение, старик возразил: «Эх, кабы землетрясение! Тряхнет хорошенько – и дело с концом... Сосчитают мертвых, живых – и все тут. А вот эта стерва чума! Даже тот, кто не болен, все равно носит болезнь у себя в сердце».

Директор отеля был удручен не меньше. В первое время путешественники, застрявшие в Оране, вынуждены были жить в отеле в связи с тем, что город был объявлен закрытым. Но эпидемия продолжалась, и многие постояльцы предпочли поселиться у своих друзей. И по тем же самым причинам, по каким все номера гостиницы раньше были заняты, – теперь они пустовали, – новых путешественников в наш город не пускали. Тарру оставался в числе нескольких последних жильцов, и директор при каждой встрече давал ему понять, что он давным-давно уже закрыл бы отель, но не делает этого ради своих последних клиентов. Нередко он спрашивал мнение Тарру насчет возможной продолжительности эпидемии. «Говорят, – отвечал Тарру, – холода препятствуют развитию бактерий». Тут директор окончательно терял голову: «Да здесь же никогда настоящих холодов не бывает, мсье. Так или иначе, это еще на много месяцев!» К тому же он был убежден, что и после окончания эпидемии путешественники долго еще будут обходить наш город стороной. Эта чума – гибель для туризма.

В ресторане после недолгого отсутствия вновь появился господин Отон, человек-филин, но в сопровождении только двух своих дрессированных собачек. По наведенным справкам, его жена ухаживала за больной матерью и теперь, похоронив ее, находилась в карантине.

– Не нравится мне это, – признался директор Тарру. – Карантин карантин, а все-таки она на подозрении, а значит, и они тоже.

Тарру заметил, что с такой точки зрения все люди подозрительны. Но директор стоял на своем, и, как оказалось, у него на сей счет было вполне определенное мнение.

– Нет, мсье, мы с вами, например, не подозрительные. А они – да.

Но господин Отон ничуть не собирался менять свои привычки из-за таких пустяков, как чума, в данном случае чума просчиталась. Все так же входил он в зал ресторана, садился за столик первым, по-прежнему вел со своими отпрысками неприязненно-изысканные разговоры. Изменился один только мальчуган. Весь в черном, как и его сестренка, он как-то съезжился и казался миниатюрной тенью отца. Ночной сторож, не выносивший господина Отона, ворчал:

– Этот-то и помрет одетым. И обрывать его не придется. Так и отправится прямехонько на тот свет.

Нашлось в дневнике место и для записи о проповеди отца Панлю, но со следующими комментариями: «Мне понятен, даже симпатичен этот пыл. Начало бедствий, равно как и их конец, всегда сопровождается небольшой дозой риторики. В первом случае еще не утрачена

привычка, а во втором она уже успела вернуться. Именно в разгар бедствий привыкаешь к правде, то есть к молчанию. Подождем».

Записал Тарру также, что имел с доктором Риэ продолжительную беседу, но не изложил ее, а отметил только, что она привела к положительным результатам, упомянул по этому поводу, что глаза у матери доктора карие, и вывел отсюда довольно-таки странное заключение, что взгляд, где читается такая доброта, всегда будет сильнее любой чумы, и, наконец, посвятил чуть ли не страницу старому астматику, пациенту доктора Риэ.

После их беседы он увязался за доктором, отправившимся навестить больного. Старик приветствовал гостей своим обычным ядовитым хихиканьем и потиранием рук. Он лежал в постели, под спину у него была подсунута подушка, а по бокам стояли две кастрюли с горошком.

– Ага, еще один, – сказал он, заметив Тарру. – Все на свете шиворот-навыворот, докторов стало больше, чем больных. Ну как, быстро дело пошло, а? Кюре прав, получили по заслугам.

На следующий день Тарру снова явился к нему без предупреждения. Если верить его записям, старик астматик, галантерейщик по роду занятий, достигнув пятидесяти лет, решил, что достаточно потрудился на своем веку. Он слег в постель и уже не вставал. Однако в стоячем положении астма его почти не мучила. Так и дожил он на небольшую ренту до своего семидесятипятилетия и легко нес бремя лет. Он не терпел вида любых часов, и в доме у них не было даже будильника. «Часы, – говаривал он, – и дорого, да и глупость ужасная». Время он узнавал, особенно время приема пищи, единственно для него важное, с помощью горошка, так как при пробуждении у его постели уже стояли две кастрюли, причем одна полная доверху. Так, горошина за горошиной, он наполнял пустую кастрюлю равномерно и прилежно. Кастрюли с горошком были, так сказать, его личными ориентирами, вполне годными для измерения времени. «Вот переложу пятнадцать кастрюль, – говорил он, – и закусить пора будет. Чего же проще».

Если верить его жене, он еще смолоду проявлял странности. И впрямь, никогда ничто его не интересовало – ни работа, ни друзья, ни кафе, ни музыка, ни женщины, ни прогулки. Он и города-то ни разу не покидал; только однажды, когда по семейным делам ему пришлось отправиться в Алжир, он вылез на ближайшей от Орана станции – дальнейшее странствие оказалось ему не по силам – и первым же поездом вернулся домой.

Старик объяснил господину Тарру, который не сумел скрыть своего удивления перед этим добровольным затворничеством, что, согласно религии, первая половина жизни человека – это подъем, а вторая – спуск, и, когда начинается этот самый спуск, дни человека принадлежат уже не ему, они могут быть отняты в любую минуту. С этим ничего поделать нельзя, поэтому лучше вообще ничего не делать. Впрочем, явная нелогичность этого положения, видно, несколько его не смущала, так как почти тут же он заявил Тарру, что Бога не существует, будь Бог, к чему бы тогда нужны попы. Но из дальнейшей беседы Тарру стало ясно, что философская концепция старика прямо объяснялась тем недовольством, которое вызывали у него благотворительные поборы в их приходе. В качестве последнего штриха к его портрету необходимо упомянуть о самом заветном желании старика, которое он неоднократно высказывал собеседнику: он надеялся умереть в глубокой старости.

«Кто он, святой? – спрашивал себя Тарру. И отвечал: – Да, святой, если только святость есть совокупность привычек».

Но в то же самое время Тарру затеял описать во всех подробностях один день зачумленного города и дать точное представление о занятиях и жизни наших сограждан этим летом. «Никто, кроме пьяниц, здесь не смеется, – записал Тарру, – а они смеются слишком много и часто». Затем шло само описание:

«На заре по городу проносится легкое веяние. В этот час, час между теми, кто умер ночью, и теми, кто умрет днем, почему-то чудится, будто мор на миг замирает и набирается духу. Все магазины еще закрыты. Но объявления, выставленные кое-где в витринах: «Закрыто по случаю чумы», свидетельствуют, что эти магазины не откроются в положенное время. Не совсем еще проснувшиеся продавцы газет не выкрикивают последних известий, а, прислонясь к стенке на углу улицы, молча протягивают фонарям свой товар жестом лунатика. Еще минута-другая, и разбуженные звоном первых трамваев газетчики рассыплются по всему городу, держа в вытянутой руке газетный лист, где чернеет только одно слово: «Чума». «Продолжится ли чума до осени? Профессор Б. отвечает: «Нет!» «Сто двадцать четыре смертных случая – таков итог девяносто четвертого дня эпидемии».

Несмотря на бумажный кризис, который становится все более ощутимым и в силу которого многие издания сократили свой объем, стала выходить новая газета «Вестник эпидемии», задача коей «информировать наших граждан со всей возможной объективностью о прогрессе или затухании болезни; давать им наиболее авторитетную информацию о дальнейшем ходе эпидемии; предоставлять свои страницы всем тем, известным или неизвестным, кто намерен бороться против бедствия; поддерживать дух населения, печатать распоряжения властей, – словом, собрать воедино, в один кулак добрую волю всех и каждого, дабы успешно противостоять постигшему нас несчастью». В действительности же газета буквально через несколько дней ограничила свою задачу публикацией сообщений о новых и надежных профилактических средствах против чумы.

Часов в шесть утра газеты успешно раскупаются очередями, уже выстроившимися у дверей магазинов за час до открытия, а потом и в трамваях, которые приходят с окраин, переполненные до отказа. Трамваи стали теперь единственным нашим транспортом, и продвигаются они с трудом, так как все площадки и подножки облеплены пассажирами. Любопытная деталь – пассажиры стараются стоять друг к другу спиной, конечно, насколько это возможно при такой давке, – во избежание взаимного заражения. На остановках трамвай выбрасывает из себя партию мужчин и женщин, которые спешат разбежаться в разные стороны, чтобы остаться в одиночестве. Нередко в трамвае разыгрываются скандалы, что объясняется просто дурным настроением, а оно стало теперь хроническим.

После того как пройдут первые трамваи, город постепенно начинает просыпаться, открываются первые пивные, где на стойках стоят объявления вроде: «Кофе нет», «Сахар приносите с собой» и т.д. и т.п. Потом открываются лавки, на улицах становится шумнее. Одновременно весь город заливают солнечные лучи, и жара обволакивает июльское небо свинцовой дымкой. В этот час люди, которым нечего делать, отваживаются пройтись по бульварам. Создается впечатление, будто многие во что бы то ни стало хотят заклясть чуму с помощью выставленной напоказ роскоши. Каждый день, часам к одиннадцати, на главных улицах города происходит как бы парад молодых людей и молодых дам, и, глядя на них, понимаешь, что в лоне великих катастроф зреет страстное желание жить. Если эпидемия пойдет вширь, то рамки морали, пожалуй, еще раздвинутся. И мы увидим тогда миланские сатурналии у разверстых могил.

В полдень, как по мановению волшебного жезла, наполняются все рестораны. А уже через несколько минут у двери топчутся маленькие группки людей, которым не хватило места. От зноя небо постепенно тускнеет. А в тени огромных маркиз чающие еды ждут своей очереди на улице, которую вот-вот растопит солнце. Рестораны потому так набиты, что они во многом упрощают проблему питания. Но не снимают страха перед заражением. Обедая долго и терпеливо перетирают приборы и тарелки. С недавнего времени в витринах ресторанов появились объявления: «У нас посуду кипятят». Но потом владельцы ресторанов отказались от всякой рекламы, поскольку публика все равно придет. К тому же клиент перестал скупиться. Самые тонкие или считающиеся таковыми вина, самые дорогие закуски

– с этого начинается неистовое состязание пирующих. Говорят также, что в одном ресторане поднялась паника: один из обедающих почувствовал себя плохо, встал из-за столика, побледнел и, шатаясь, поспешно направился к выходу.

К двум часам город постепенно пустеет, в эти минуты на улицах сходятся вместе пыль, солнце, чума и молчание. Зной без передышки стекает вдоль стен высоких серых зданий. Эти длинные тюремные часы переходят в пламенеющие вечера, которые обрушиваются на людный, стрекочущий город. В первые дни жары, неизвестно даже почему, на улицах и вечерами никого не было. Но теперь дыхание ночной свежести приносит с собой если не надежду, то хоть разрядку. Все высыпает тогда из домов. Стараются оглушить себя болтовней, громкими спорами, вожделеют, и под алым июльским небом весь город, с его парочками и людским говором, дрейфует навстречу одышливой ночи. И тщетно каждый вечер какой-то вдохновенный старец в фетровой шляпе и в галстук-бабочке расталкивает толпу со словами: «Бог велик, придите к нему»; все, напротив, спешат к чему-то, чего они, в сущности, не знают, или к тому, что кажется им важнее Бога. Поначалу, когда считалось, что разразившаяся эпидемия – просто обычная эпидемия, религия была еще вполне уместна. Но когда люди поняли, что дело плохо, все разом вспомнили, что существуют радости жизни. Тоскливый страх, уродующий днем все лица, сейчас, в этих пыльных, пылающих сумерках, уступает место какому-то неопределенному возбуждению, какой-то неуклюжей свободе, воспламеняющей весь город.

И я, я тоже, как они. Да что там! Смерть для таких людей, как я, – ничто. Просто событие, доказывающее нашу правоту!»

Это сам Тарру попросил доктора Риэ о свидании, упомянутом в его дневнике. В вечер условленной встречи Риэ ждал гостя и глядел на свою мать, чинно сидевшую на стуле в дальнем углу столовой. Это здесь, на этом самом месте, она, покончив с хлопотами по хозяйству, проводила все свое свободное время. Сложив руки на коленях, она ждала. Риэ был даже не совсем уверен, что ждет она именно его. Но когда он входил в комнату, лицо матери менялось. Все то, что долгой трудовой жизнью было сведено к немоте, казалось, разом в ней оживало. Но потом она снова погружалась в молчание. Этим вечером она глядела в окно на уже опустевшую улицу. Уличное освещение теперь уменьшилось на две трети. И только редкие слабенькие лампочки еще прорезали ночной мрак.

– Неужели во время всей эпидемии так и будет электричество гореть вполнакала? – спросила госпожа Риэ.

– Вероятно.

– Хоть бы до зимы кончилось. А то зимой будет совсем грустно.

– Да, – согласился Риэ.

Он заметил, что взгляд матери скользнул по его лбу. Да и сам Риэ знал, что тревога и усталость последних дней не красят его.

– Ну как сегодня, не ладилось? – спросила госпожа Риэ.

– Да нет, как всегда.

Как всегда! Это означало, что новая сыворотка, присланная из Парижа, оказалась, по видимому, менее действенна, чем первая, и что цифры смертности растут. Но по-прежнему профилактическую вакцинацию приходится делать только в семьях, где уже побывала чума. А чтобы впрыскивать вакцину в нужных масштабах, необходимо наладить ее массовое производство. В большинстве случаев бубоны упорно отказывались вскрываться, они почему-то стали особенно твердыми, и больные страдали вдвойне. Со вчерашнего дня в городе зарегистрировано два случая новой разновидности заболевания. Теперь к бубонной чуме присоединилась еще и легочная. И тогда же окончательно сбившиеся с ног врачи потребовали на заседании у растерявшегося префекта – и добились – принятия новых мер с целью избежать

опасности заражения, так как легочная чума разносится дыханием человека. И как обычно, никто ничего не знал.

Он посмотрел на мать. Милый взгляд карих глаз всколыхнул в нем сыновнюю нежность, целые годы нежности.

– Уж не боишься ли ты, мать?

– В мои лета особенно бояться нечего.

– Дни длинные, а меня никогда дома не бывает.

– Раз я знаю, что ты придешь, я могу тебя ждать сколько угодно. А когда тебя нет дома, я думаю о том, что ты делаешь. Есть известия?

– Да, все благополучно, если верить последней телеграмме. Но уверен, что она пишет так, только чтоб меня успокоить.

У двери продребезжал звонок. Доктор улыбнулся матери и пошел открывать. На лестничной площадке было уже темно, и Тарру походил в сером своем костюме на огромного медведя. Риэ усадил гостя в своем кабинете у письменного стола. А сам остался стоять, держа за спинку кресла. Их разделяла лампа, стоявшая на столе, только она одна и горела в комнате.

– Я знаю, – без обиняков начал Тарру, – что могу говорить с вами откровенно.

Риэ промолчал, подтверждая слова Тарру.

– Через две недели или через месяц вы будете уже бесполезны, события вас обогнали.

– Вы правы, – согласился Риэ.

– Санитарная служба организована из рук вон плохо. Вам не хватает ни людей, ни времени.

Риэ подтвердил и это.

– Я узнал, префектура подумывает об организации службы из гражданского населения с целью побудить всех годных мужчин принять участие в общей борьбе по спасению людей.

– Ваши сведения верны. Но недовольство и так уж велико, и префект колеблется.

– Почему в таком случае не обратиться к добровольцам?

– Пробовали, но результат получился жалкий.

– Пробовали официальным путем, сами почти не веря в успех. Им не хватает главного – воображения. Потому-то они и отстают от масштабов бедствия. И воображают, что борются с чумой, тогда как средства борьбы не поднимаются выше уровня борьбы с обыкновенным насморком. Если мы не вмешаемся, они погибнут, да и мы вместе с ними.

– Возможно, – согласился Риэ. – Должен вам сказать, что они подумывают также о привлечении на черную работу заключенных.

– Я предпочел бы, чтобы работу выполняли свободные люди.

– Я тоже. А почему, в сущности?

– Ненавижу смертные приговоры.

Риэ взглянул на Тарру.

– Ну и что же? – сказал он.

– А то, что у меня есть план по организации добровольных дружин. Поручите мне заняться этим делом, а начальство давайте побоку. У них и без того забот по горло. У меня повсюду есть друзья, они-то и будут ядром организации. Естественно, я тоже вступлю в дружину.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.